Иван ТУРГЕНЕВ



Фауст

Фауст

Иван Сергеевич Тургенев

Аннотация
Иван Тургенев. ФАУСТ. Рассказ в девяти письмах
ПИСЬМО ПЕРВОЕ
ПИСЬМО ВТОРОЕ
ПИСЬМО ТРЕТЬЕ
ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ
ПИСЬМО ПЯТОЕ
ПИСЬМО ШЕСТОЕ
ПИСЬМО СЕДЬМОЕ
ПИСЬМО ВОСЬМОЕ
ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ
ВАРИАНТЫ
ПРИМЕЧАНИЯ
ФАУСТ. ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Аннотация

«Фауст» — произведение великого русского писателя Ивана Тургенева. В своем творчестве он раскрывает тему русской интеллигенции и крестьянского быта, выступает мастером психологических портретов. Перу автора принадлежат и другие известные произведения, такие как «Ася», «Отцы и дети», «Дворянское гнездо», «Бирюк», «Накануне», «Муму», «Пожар на море», «Постоялый двор», «Часы», «Три портрета», «Странная история», «Свидание» и т. д. Иван Тургенев — выдающийся писатель XIX века, член-корреспондент императорской Академии наук по разряду русского языка и словесности, автор философско-психологических поэм, рассказов, повестей и романов.

Иван Тургенев
ФАУСТ

Рассказ в девяти письмах

Entbehren sollst du, sollst entbehren[1].
«Фауст» (часть 1-ая).

[1] СНОСКИ: 1
Отречься должен ты, отречься *(нем.).*

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

От Павла Александровича В… к Семену Николаевичу В…

Сельцо М…ое, 6 июня 1850.

Четвертого дня прибыл я сюда, любезный друг, и, по обещанию, берусь за перо и пишу к тебе. Мелкий дождь сеет с утра: выйти невозможно; да и мне же хочется поболтать с тобой. Вот я опять в своем старом гнезде, в котором не был — страшно вымолвить — целых девять лет. Чего, чего не перебывало в эти девять лет! Право, как подумаешь, я точно другой человек стал. Да и в самом деле другой: помнишь ты в гостиной маленькое, темненькое зеркальце моей прабабушки, с такими странными завитушками по углам, — ты все, бывало, раздумывал о том, что оно видело сто лет тому назад, — я, как только приехал, подошел к нему и невольно смутился. Я вдруг увидел, как я постарел и переменился в последнее время. Впрочем, не я один постарел. Домишко мой, уже давно ветхий, теперь чуть держится, весь покривился, врос в землю. Добрая моя Васильевна, ключница (ты ее, наверно, не забыл: она тебя таким слав-

ным вареньем потчевала), совсем высохла и сгорбилась; увидав меня, она даже вскрикнуть не могла и не заплакала, а только заохала и раскашлялась, села в изнеможении на стул и замахала рукою. Старик Терентий еще бодрится, по-прежнему держится прямо и на ходу выворачивает ноги, вдетые в те же самые желтые нанковые панталошки и обутые в те же самые скрыпучие козловые башмаки, с высоким подъемом и бантиками, от которых ты не однажды приходил в умиление… Но, боже мой! — как болтаются теперь эти панталошки на его худеньких ногах! как волосы у него побелели! и лицо совсем съежилось в кулачок; а когда он заговорил со мной, когда он начал распоряжаться и отдавать приказания в соседней комнате, мне и смешно и жалко его стало. Все зубы у него пропали, и он шамкает с присвистом и шипеньем. Зато сад удивительно похорошел: скромные кустики сирени, акации, жимолости (помнишь, мы их с тобой сажали) разрослись в великолепные сплошные кусты; березы, клены — все это вытянулось и раскинулось; липовые аллеи особенно хороши стали. Люблю я эти аллеи, люблю серо-зеленый нежный цвет и тонкий запах воздуха под их сводами; люблю пестреющую сетку светлых кружков по

темной земле — песку у меня, ты знаешь, нету. Мой любимый дубок стал уже молодым дубом. Вчера, среди дня, я более часа сидел в его тени на скамейке. Мне очень хорошо было. Кругом трава так весело цвела; на всем лежал золотой свет, сильный и мягкий; даже в тень проникал он… А что слышалось птиц! Ты, я надеюсь, не забыл, что птицы — моя страсть. Горлинки немолчно ворковали, изредка свистала иволга, зяблик выделывал свое милое коленце, дрозды сердились и трещали, кукушка отзывалась вдали; вдруг, как сумасшедший, пронзительно кричал дятел. Я слушал, слушал весь этот мягкий, слитный гул, я пошевельнуться не хотелось, а на сердце не то лень, не то умиление. И не один сад вырос: мне на глаза беспрестанно попадаются плотные, дюжие ребята, в которых я никак не могу признать прежних знакомых мальчишек. А твой фаворит, Тимоша, стал теперь таким Тимофеем, что ты себе представить не можешь. Ты тогда боялся за его здоровье и предсказывал ему чахотку; а посмотрел бы ты теперь на его огромные красные руки, как они торчат из узеньких рукавов нанкового сюртука, и какие у него повсюду выпираются круглые и толстые мышцы! Затылок, как у быка, я голова вся в крутых белокурых завитках

— совершенный Геркулес Фарнезский! Впрочем, лицо его изменилось меньше, чем у других, даже не очень увеличилось в объеме, и веселая, как ты говорил, «зевающая» улыбка осталась та же. Я его взял к себе в камердинеры; своего петербургского я бросил в Москве: очень уж он любил стыдить меня и давать чувствовать свое превосходство в столичном обращении. Собак моих я не нашел ни одной; все перевелись. Одна Нефка дольше всех жила — и та не дождалась меня, как Аргос дождался Улисса; не пришлось ей увидеть бывшего хозяина и товарища по охоте своими потускневшими глазами. А Шавка цела и так же лает сипло, и одно ухо так же прорвано, и репейники в хвосте, как быть следует. Я поселился в бывшей твоей комнатке. Правда, солнце в нее ударяет, и мух в ней много; зато меньше пахнет старым домом, чем в остальных комнатах. Странное дело! этот затхлый, немного кислый и вялый запах сильно действует на мое воображение: не скажу, чтобы он был мне неприятен, напротив; но он возбуждает во мне грусть, а наконец унылость. Я, так же как и ты, очень люблю старые пузатые комоды с медными бляхами, белые кресла с овальными спинками и кривыми ножками, засиженные мухами стек-

лянные люстры, с большим яйцом из лиловой фольги посередине, — словом, всякую дедовскую мебель; но постоянно видеть все это не могу: какая-то тревожная скука (именно так!) овладеет мною. В комнате, где я поселился, мебель самая обыкновенная, домодельщина; однако я оставил в углу узкий и длинный шкаф с полочками, на которых сквозь пыль едва виднеется разная старозаветная дутая посуда из зеленого и синего стекла; а на стене я приказал повесить, помнишь, тот женский портрет, в черной раме, который ты называл портретом Манон Леско. Он немного потемнел в эти девять лет; но глаза глядят так же задумчиво, лукаво и нежно, губы так же легкомысленно и грустно смеются, и полуощипанная роза так же тихо валится из тонких пальцев. Очень забавляют меня шторы в моей комнате. Они когда-то были зеленые, но пожелтели от солнца: по ним черными красками написаны сцены из д'арленкуровокого «Пустынника». На одной шторе этот пустынник, с огромнейшей бородой, глазами навыкате и в сандалиях, увлекает в горы какую-то растрепанную барышню; на другой — происходит ожесточенная драка между четырьмя витязями в беретах и с буфами

на плечах; один лежит, en raccourci[2], убитый словом, все ужасы представлены, а кругом такое невозмутимое спокойствие, и от самых штор ложатся такие кроткие отблески на потолок… Какая-то душевная тишь нашла на меня с тех пор, как я здесь поселился; ничего не хочется делать, никого не хочется видеть, мечтать не о чем, лень мыслить; но думать не лень: это две вещи разные, как ты сам хорошо знаешь. Воспоминания детства сперва нахлынули на меня… куда я ни шел, на что ни взглядывал, они возникали отовсюду, ясные, до малейших подробностей ясные, и как бы неподвижные в своей отчетливой определенности… Потом эти воспоминания сменились другими, потом… потом я тихонько отвернулся от прошедшего, и только осталось у меня в груди какое-то дремотное бремя. Вообрази! сидя на плотине, под ракитой, я вдруг неожиданно заплакал и долго бы проплакал, несмотря на свои уже преклонные лета, если бы не устыдился проходившей бабы, которая с любопытством посмотрела на меня, потом, не обращая ко мне лица, прямо и низко поклонилась и прошла мимо. Я бы очень желал остаться в таком

---

[2] СНОСКИ: 2
в ракурсе *(франц.)*.

настроении (плакать, разумеется, я уже больше не буду) до самого моего отъезда отсюда, то есть до сентября месяца, и очень был бы огорчен, если б кто-нибудь из соседей вздумал посетить меня. Впрочем, опасаться этого, кажется, нечего; у меня же и нет близких соседей. Ты, я уверен, поймешь меня; ты знаешь сам по опыту, как часто бывает благотворно уединение… Оно мне нужно теперь, после всяческих странствований.

А скучать я не буду. Я привез с собой несколько книг, и здесь у меня библиотека порядочная. Вчера я раскрыл все шкафы и долго рылся в заплесневших книгах. Я нашел много любопытных, прежде мною не замеченных вещей: «Кандида» в рукописном переводе 70-х годов; ведомости и журналы того же времени; «Торжествующего хамелеона» (то есть Мирабо); «Le Paysan perverti»[3] и т. д. Попались мне детские книжки, и мои собственные, и моего отца, и моей бабки, и даже, представь себе, моей прабабки: на одной ветхой-ветхой французской грамматике, в пестром переплете, написано крупными буквами: Ce livre appartient a m-lle Eudoxie de Lavrine[4] и выставлен

---

[3] СНОСКИ: 3
«Развращенного крестьянина» *(франц.)*.

[4] СНОСКИ: 4
Эта книга принадлежит девице Евдокии Лавриной *(франц.)*.

год — 1741. Я увидал книги, привезенные мною когда-то из-за границы, между прочим гетевского «Фауста». Тебе, может быть, неизвестно, что, было время, я знал «Фауста» наизусть (первую часть, разумеется) от слова до слова; я не мог начитаться им… Но другие дни другие сны, и в течение последних девяти лет мне едва ли пришлось взять Гете в руки. С каким неизъяснимым чувством увидал я маленькую, слишком мне знакомую книжку (дурного издания 1828 года). Я унес ее с собою, лег на постель и начал читать. Как подействовала на меня вся великолепная первая сцена! Появление Духа Земли, его слова, помнишь: «На жизненных волнах, в вихре творения», возбудили во мне давно не изведанный трепет и холод восторга. Я вспомнил все: и Берлин, и студенческое время, и фрейлейн Клару Штих, и Зейдельманна в роли Мефистофеля, и музыку Радзивилла и все и вся… Долго не мог я заснуть: моя молодость пришла и стала передо мною, как призрак; огнем, отравой побежала она по жилам, сердце расширилось и не хотело сжаться, что-то рвануло по его струнам, и закипели желания…

Вот каким грезам предавался твой почти сорокалетний друг, сидя, одинокий, в своем одиноком домишке! Что, если бы кто подсмотрел меня?

Ну, так что ж? Я бы нисколько не устыдился. Стыдиться — это тоже признак молодости; а я, знаешь ли, почему стал замечать, что стареюсь? Вот почему. Я теперь стараюсь преувеличивать перед самим собою свои веселые ощущения и укрощать грустные, а в дни молодости я поступал совершенно наоборот. Бывало, носишься с своей грустью, как с кладом, и совестишься веселого порыва…

А все-таки мне кажется, что, несмотря на весь мой жизненный опыт, есть еще что-то такое на свете, друг Горацио, чего я не испытал, и это «что-то» чуть ли не самое важное.

Эх, до чего я дописался! Прощай! До другого раза. Что ты делаешь в Петербурге? Кстати: Савелий, мой деревенский повар, велит тебе кланяться. Он тоже постарел, но не слишком, потолстел и обрюзг немного. Так же хорошо делает куриные супы с разварными луковицами, ватрушки с узорчатой каймой и пигус — знаменитое степное блюдо пигус, от которого у тебя язык побелел и стоял колом в течение целых суток. Зато жареное он по-прежнему засушивает так, что хоть стучи им по тарелке — настоящий картон. Однако прощай!

Твой П. Б.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

От того же к тому же

Сельцо М…ое, 12 июня 1850.

Имею сообщить тебе довольно важную новость, любезный друг. Слушай! Вчера, перед обедом, захотелось мне погулять — только не в саду; я пошел по дороге в город. Идти без всякой цели быстрыми шагами по длинной прямой дороге — очень приятно. Точно дело делаешь, спешишь куда-то. Смотрю: едет навстречу коляска. «Не ко мне ли?» — подумал я с тайным страхом… Однако нет: в коляске сидит господин с усами, мне незнакомый. Я успокоился. Но вдруг этот господин, поравнявшись со мною, велит кучеру остановить лошадей, учтиво приподнимает фуражку и еще учтивее спрашивает меня: не я ли такой-то? — называя меня по имени. Я, в свою очередь, останавливаюсь и с бодростью подсудимого, которого ведут к допросу, отвечаю: «Я такой-то», а сам гляжу, как баран, на господина с усами и думаю про себя: «А ведь я его видал где-то!»

— Вы меня не узнаете? — произносит он, вылезая между тем из коляски.

— Никак нет-с.

— А я так узнал вас тотчас.

Слово за слово: оказывается, что это был Приимков, помнишь, бывший наш университетский товарищ. «Что же это за важная, новость? — думаешь ты в это мгновение, любезный Семен Николаич. — Приимков, сколько мне помнится, малый был довольно пустой, хотя не злой и не глупый». Все так, дружище, но слушай продолжение разговора.

— Я, говорит, очень обрадовался, когда услыхал, что вы приехали в свою деревню, к нам в соседство. Впрочем, не я один обрадовался.

— Позвольте узнать, — спросил я, — кто же еще был так любезен…

— Моя жена.

— Ваша жена!

— Да, моя жена: она ваша старая знакомая.

— А позвольте узнать, как зовут вашу супругу?

— Ее зовут Верой Николаевной; она Ельцова урожденная…

— Вера Николаевна! — восклицаю я невольно…

Вот это-то и есть самая та важная новость, о которой я говорил тебе в начале письма.

Но, может быть, ты и в этом ничего на нахо-

дишь важного… Придется мне рассказать тебе кое-что из моей прошедшей… давно прошедшей жизни.

Когда мы вместе с тобой вышли из университета в 183… году, мне было двадцать три года. Ты поступил на службу; я, как тебе известно, решился отправиться в Берлин. Но в Берлине раньше октября нечего было делать. Мне захотелось провести лето в России, в деревне, полениться хорошенько в последний раз, а там уже приняться за работу не шутя. Насколько сбылось это последнее предположение, об этом теперь распространяться нечего… «Но где мне провести лето?» — опрашивал я себя. В свою деревню мне ехать не хотелось: отец мой недавно скончался, близких родных у меня не было, я боялся одиночества, скуки… А потому я с радостью принял предложение одного моего родственника, двоюродного дяди, погостить у него в имении, в Т***ой губернии. Он был человек зажиточный, добрый и простой, жил барином и палаты имел барские. Я поселился у него. Семейство у дяди было большое: два сына и пять дочерей. Кроме того, в доме у него проживало пропасть народу. Гости беспрестанно наезжали — а все-таки весело не было. Дни протекали шумно, уединиться не было

возможности. Все делалось сообща, все старались чем-нибудь рассеяться, что-нибудь придумать, и к концу дня все уставали страшно. Пошлым чем-то отзывалась эта жизнь. Я уже начинал мечтать об отъезде и ждал только, чтобы прошли дядины именины, но в самый день этих именин на бале я увидел Веру Николаевну Ельцову — и остался.

Ей было тогда шестнадцать лет. Она жила с своею матерью в маленьком именьице, верстах в пяти от моего дяди. Отец ее — человек, говорят, весьма замечательный — быстро достиг полковничьего чина и пошел бы еще далее, но погиб в молодых летах, нечаянно застреленный на охоте товарищем. Вера Николаевна осталась после него ребенком. Мать ее была тоже женщина необыкновенная: она говорила на нескольких языках, много знала. Она была семью или восемью годами старше своего мужа, за которого вышла по любви; он тайно увез ее из родительского дома. Она едва перенесла его потерю и до самой смерти (по словам Приимкова, она умерла скоро после свадьбы дочери) носила одни черные платья. Я живо помню ее лицо, выразительное, темное, с густыми, поседелыми волосами, большими, строгими, как бы потухшими глазами и прямым тонким носом. Ее отец — фамилия его была Ла-

данов — лет пятнадцать прожил в Италии. Мать Веры Николаевны родилась от простой крестьянки из Альбано, которую на другой день после ее родов убил трастеверинец, ее жених, у которого Ладанов ее похитил… Эта история в свое время наделала много шуму. Вернувшись в Россию, Ладанов не только из дома, из кабинета своего не выходил, занимался химией, анатомией, кабалистикой, хотел продлить жизнь человеческую, воображал, что можно вступать в сношения с духами, вызывать умерших… Соседи считали его за колдуна. Он чрезвычайно любил дочь свою, сам учил ее всему, но не простил ей ее побега с Ельцовым, не пустил к себе на глаза ни ее, ни ее мужа, предсказал им обоим жизнь печальную и умер один. Оставшись вдовою, г-жа Ельцова посвятила весь свой досуг на воспитание дочери и почти никого не принимала. Когда я познакомился с Верой Николаевной, она, представь себе, ни в одном городе не бывала отроду, даже в своем уездном.

Вера Николаевна не походила на обыкновенных русских барышень: на ней лежал какой-то особый отпечаток. Меня с первого раза поразило в ней удивительное спокойствие всех ее движений и речей. Она, казалось, ни о чем не

хлопотала, не тревожилась, отвечала просто и умно, слушала внимательно. Выражение ее лица было искреннее и правдивое, как у ребенка, но несколько холодно и однообразно, хотя и не задумчиво. Веселою она бывала редко и не так, как другие: ясность невинной души, отраднее веселости, светилась во всем ее существе. Она была небольшого роста, очень хорошо сложена, немного тонка, черты имела правильные и нежные, прекрасный ровный лоб, золотисто-русые волосы, нос прямой, как у матери, довольно полные губы; серые с чернотой глаза глядели как-то слишком прямо из-под пушистых, кверху загнутых ресниц. Руки у ней были невелики, но не очень красивы: у людей с талантами таких рук не бывает… и действительно, за Верой Николаевной никаких особенных талантов не водилось. Голос у ней звенел, как у семилетней девочки. Я на бале у дяди был представлен ее матери и, несколько дней спустя, в первый раз поехал к ним.

Г-жа Ельцова была женщина очень странная, с характером, настойчивая и сосредоточенная. На меня она имела влияние сильное: я и уважал ее и побаивался ее. Все у ней делалось по системе, и дочь свою она воспитала по системе, но не стесняла ее свободы. Дочь любила ее и верила

ей слепо. Стоило г-же Ельцовой дать ей книжку и сказать: вот этой страницы не читай — она скорее предыдущую страницу пропустит, а уж не заглянет в запрещенную. Но и у г-жи Ельцовой были своя idees fixes[5], свои коньки. Она, например, как огня боялась всего, что может действовать на воображенье; а потому ее дочь до семнадцатилетнего возраста не прочла ни одной повести, ни одного стихотворения, а в географии, истории и даже в естественной истории частенько ставила в тупик меня, кандидата, и кандидата не из последних, как ты, может быть, помнишь. Я было раз попытался потолковать с г-жой Ельцовой об ее коньке, хотя трудно было вовлечь ее в разговор: она очень была молчалива. Она только головой покачала.

— Вы говорите, — сказала она, наконец, — читать поэтические произведения _и_ полезно _и_ приятно… Я думаю, надо заранее выбрать в жизни: _или_ полезное, _или_ приятное, и так уже решиться, раз навсегда. И я когда-то хотела соединить и то и другое… Это невозможно и ведет к гибели или к пошлости.

Да, удивительное существо была эта женщина,

---

[5] СНОСКИ: 5
навязчивые идеи *(франц.)*.

существо честное, гордое, не без фанатизма и суеверия своего рода. «Я боюсь жизни», — сказала она мне однажды. И точно, она ее боялась, боялась тех тайных сил, на которых построена жизнь и которые изредка, но внезапно пробиваются наружу. Горе тому, над кем они разыграются! Страшно сказались эти силы Ельцовой: вспомни смерть ее матери, ее мужа, ее отца… Это хотя бы кого запугало. Я не видал, чтоб она когда-нибудь улыбнулась. Она как будто заперлась на замок и ключ бросила в воду. Она, должно быть, много горя перенесла на своем веку и никогда ни с кем не поделилась им: все в себе затаила. Она до того приучила себя не давать воли своим чувствам, что даже стыдилась выказывать страстную любовь свою к дочери; она ни разу не поцеловала ее при мне, никогда не называла ее уменьшительным именем, всегда — Вера. Помню одно ее слово; я как-то сказал ей, что все мы, современные люди, надломленные… «Надламывать себя не для чего, — промолвила она, — надо всего себя переломить или уж не трогать…»

Весьма немногие ездили к Ельцовой; но я посещал ее часто. Я втайне сознавал, что она ко мне благоволила; а Вера Николаевна мне очень нравилась. Мы с ней разговаривали, гуляли… Мать

не мешала нам; сама дочь не любила быть без матери, и я, с своей стороны, тоже не чувствовал потребности уединенной беседы. У Веры Николаевны была странная привычка думать вслух; по ночам она во сне громко и явственно говорила о том, что ее поразило в течение дня. Однажды, поглядев на меня внимательно и, по обыкновению своему, тихонько подпершись рукою, она сказала: «Мне сдается, что Б. хороший человек; но положиться на него нельзя». Отношения между нами были самые дружелюбные и ровные; только однажды мне показалось, что я подметил там, где-то далеко, в самой глубине ее светлых глаз, что-то странное, какую-то негу и нежность… Но, может быть, я ошибся.

Между тем время шло, и мне уже пора было собираться в отъезд. Но я все медлил. Бывало, как подумаю, как вспомню, что скоро я не увижу более этой милой девушки, к которой я так привязался, — жутко мне станет… Берлин начинал терять свою притягательную силу. Я не смел самому себе сознаться в том, что во мне происходило, да я и не понимал, что происходило во мне, точно туман бродил в душе. Наконец, в одно утро мне вдруг все стало ясно. «Чего еще искать, — подумал я, — куда стремиться? Ведь

истина все-таки в руки не дастся. Не остаться ли лучше здесь, не жениться ли?» И, вообрази себе, эта мысль о женитьбе нисколько не испугала меня тогда. Напротив, я обрадовался ей. Мало того: в тот же день я объявил о своем намерении, только не Вере Николаевне, как бы следовало ожидать, а самой Ельцовой. Старуха посмотрела на меня.

— Нет, — сказала она, — мой милый, поезжайте в Берлин, надломитесь-ка еще. Вы добры; но не такой муж нужен для Веры.

Я потупился, покраснел и, что тебя, вероятно, удивит еще более, тотчас же внутренне согласился с Ельцовой. Через неделю я уехал и с тех пор уже не видал ни ее, ни Веры Николаевны.

Я описал тебе мои похождения вкратце, потому что знаю, ты не любишь ничего «пространственного». Приехав в Берлин, я очень скоро забыл Веру Николаевну… Но, признаюсь, неожиданное известие о ней меня взволновало. Меня поразила мысль, что она так близко, что она моя соседка, что я ее на днях увижу. Прошедшее, словно из земли, внезапно выросло передо мною, так и надвинулось на меня. Приимков объявил мне, что посетил меня именно с целью возобновить наше старинное знакомство и что он надеется в самом скором временя увидать меня у себя. Он

мне сообщил, что служил в кавалерии, вышел в отставку поручиком, купил имение в восьми верстах от меня и намерен заниматься хозяйством, что у него было трое детей, но что двое умерли, осталась пятилетняя дочь.

— И жена ваша меня помнит? — спросил я.

— Да, помнит, — отвечал он с небольшой запинкой. — Конечно, она тогда была еще, можно сказать, ребенок; но ее матушка вас всегда очень хвалила, а вы знаете, как она дорожит каждым словом покойницы.

Пришли мне на память слова Ельцовой, что я не гожусь для ее Веры… «Стало быть, _ты_ годился», — подумал я, сызбока посматривая на Приимкова. Он у меня пробыл несколько часов. Он очень хороший, милый малый, так скромно говорит, так добродушно смотрит; его нельзя не полюбить… но умственные способности его не развились о тех пор, как мы его знали. Я непременно к нему поеду, может быть, завтра же. Чрезвычайно любопытно мне посмотреть, что такое вышло из Веры Николаевны?

Ты, злодей, вероятно, смеешься теперь надо мною, сидя за своим директорским столом; а я все-таки тебе напишу, какое впечатление она произведет на меня. Прощай! До следующего письма.

Твой П. Б.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

От того же к тому же

Сельцо М…ое, 16 июня 1850.

Ну, брат, был я у ней, влдел ее. Прежде всего должен сообщить тебе удивительное обстоятельство: верь мне или не верь, как хочешь, но она почти ничего не изменилась ни в лице, ни в стане. Когда она вышла мне навстречу, я чуть не ахнул: семнадцатилетняя девочка, да и полно! Только глаза не как у девочки; впрочем, у ней и в молодости глаза были не детские, слишком светлы. Но то же спокойствие, та же ясность, голос тот же, ни одной морщинки на лбу, точно она все эти годы пролежала где-нибудь в снегу. А ей теперь двадцать восемь лет, и трое детей у ней было… Непонятно! Ты, пожалуйста, не думай, что я из предубежденья преувеличиваю; напротив, мне эта «неизменность» в ней вовсе не понравилась.

Женщина в двадцать восемь лет, жена и мать, не должна походить на девочку: недаром же она жила. Она очень приветливо меня встретила; но Приимкова мой приезд просто обрадовал: этот добряк так и смотрит, как бы к кому привя-

заться. Дом у них очень уютный и чистый. Вера Николаевна и одета была девочкой: вся в белом, с голубым поясом и тоненькой золотой цепочкой на шее. Ее дочка очень мила и на нее нисколько не похожа; она напоминает свою бабку. В гостиной, над диваном, висит портрет этой странной женщины, поразительно схожий. Он мне бросился в глаза как только я вошел. Казалось, она строго и внимательно смотрела на меня. Мы уселись, вспомнили про старину и понемногу разговорились. Я поневоле то и дело взглядывал на сумрачный портрет Ельцовой. Вера Николаевна сидела прямо под ним: это ее любимое место. Представь мое изумление: Вера Николаевна до сих пор не прочла ни одного романа, ни одного стихотворения — елевом, ни одного, как она выражается, выдуманного сочинения! Это непостижимое равнодушие к возвышеннейшим удовольствиям ума меня рассердило. В женщине умной и, сколько я могу судить, тонко чувствующей это просто непростительно.

— Что же, — спросил я, — вы положили себе за правило никогда таких книг не читать?

— Не пришлось, — отвечала она, — некогда было.

— Некогда! Я удивляюсь! Хоть бы вы, — продол-

жал я, обратившись к Прилмкову, — приохотили вашу жену.

— Я с удовольствием… — начал было Приимков, но Вера Николаевна его перебила.

— Не притворяйся: ты сам небольшой охотник до стихов.

— До стихов, точно, — начал он, — я не очень; но романы, например…

— Да что же вы делаете, чем вы занимаетесь по вечерам? — спросил я, — в карты играете?

— Иногда играем, — отвечала она, — да мало ли есть чем заняться? Мы тоже читаем: есть хорошие сочинения, кроме стихов.

— Что вы на стихи так нападаете?

— Я на них не нападаю: я с детства привыкла не читать этих выдуманных сочинений; матушке так было угодно, а я чем больше живу, тем больше убеждаюсь в том, что все, что матушка ни делала, все, что она ни говорила, была правда, святая правда.

— Ну, как вы хотите, а я с вами согласиться не могу: я убежден, что вы напрасно лишаете себя самого чистого, самого законного наслаждения. Ведь вы не отвергаете музыки, живописи: отчего же вы отвергаете поэзию?

— Я ее не отвергаю: я до сих пор с ней не позна-

комилась — вот и все.

— Так я возьмусь за это! Ведь ваша матушка не на всю жизнь запретила вам знакомство с произведениями изящной словесности?

— Нет; как я вышла замуж, матушка сняла с меня всякое запрещение; мне самой в мысля не приходило читать… как вы это сказали?., ну, словом, читать романы.

Я с недоумением слушал Веру Николаевну: я этого не ожидал.

Она смотрела на меня своим спокойным взором. Птицы так смотрят, когда не боятся.

— Я вам принесу книгу! — воскликнул я. (У меня в голове мелькнул недавно мной прочтенный «Фауст».)

Вера Николаевна тихонько вздохнула.

— Это… это не будет Жорж Санд? — спросила она не без робости.

— А! значит, вы слыхали о ней? Ну, хоть бы она, что же за беда?.. Нет, я вам принесу другого автора. Ведь вы по-немецки не забыли?

— Нет, не забыла.

— Она говорит, как немка, — подхватил Приимков.

— Ну и прекрасно! Я вам принесу… да вот вы увидите, какую я вам удивительную вещь при-

несу.

— Ну, хорошо, увижу. А теперь пойдемте в сад, а то Наташе на месте не сидится.

Она надела круглую соломенную шляпу, детскую шляпу, точно такую же, какую надела ее дочь, только побольше немного, и мы отправились в сад. Я шел с ней рядом. На свежем воздухе, в тени высоких лип ее лицо мне показалось еще милее, особенно когда она слегка поворачивалась и закидывала голову, чтоб посмотреть на меня из-под края шляпки. Если бы не шедший за нами Приимков, если бы не прыгавшая перед нами девочка, я бы, право, мог подумать, что мне не тридцать пять лет, а двадцать три года; что я только собираюсь еще в Берлин, тем более что и сад, в котором мы находились, весьма походил на сад в имении Ельцовой. Я не удержался и передал мое впечатление Вере Николаевне.

— Мне все говорят, что я наружно мало изменилась, — отвечала она, впрочем, я и внутренно осталась та же.

Мы подошли к небольшому китайскому домику.

— Вот такого домика у нас в Осиповке не было, — сказала она, — но вы не смотрите, что он так обвалился и полинял: внутри очень хорошо

и прохладно.

Мы вошли в домик. Я оглянулся.

— Знаете ли что, Вера Николаевна, — промолвил я, — велите к моему приезду принести сюда стол и несколько стульев. Здесь в самом деле чудесно. Я вам здесь прочту… Гетева «Фауста»… вот какую вещь я вам прочту.

— Да, здесь мух нет, — заметила она простодушно, — а когда вы приедете?

— Послезавтра.

— Хорошо, — возразила она, — прикажу. Наташа, которая вместе с нами вошла в домик, вдруг вскрикнула и отскочила вся бледная.

— Что такое? — спросила Вера Николаевна.

— Ах, мама, — проговорила девочка, указывая в угол пальцем, — посмотри, какой страшный паук!..

Вера Николаевна взглянула в угол — большой пестрый паук тихо всползал по стене.

— Чего же тут бояться? — сказала она, — он не кусается, посмотри.

И, прежде чем я успел остановить ее, она взяла безобразное насекомое в руку, дала ему побегать по ладони и выбросила его вон.

— Ну, какая же вы храбрая! — воскликнул я.

— В чем же тут храбрость? Этот паук не из

ядовитых.

— Видно, вы по-прежнему сильны в естественной истории; а я бы его в руки не взял.

— Его нечего бояться, — повторила Вера Николаевна.

Наташа молча посмотрела на нас обоих и усмехнулась.

— Как она похожа на вашу матушку! — заметил я.

— Да, — возразила Вера Николаевна с улыбкой удовольствия, — это меня очень радует. Дай бог, чтобы она не одним лицом на нее походила!

Нас позвали обедать, и после обеда я уехал. NB. Обед был очень хорош и вкусен — это я в скобках замечаю для тебя, объедало! Завтра я к ним свезу «Фауста». Боюсь я, как бы мы со стариком Гете не провалились. Опишу тебе все подробно.

Ну, а теперь что ты думаешь обо всех «сих происшествиях»? Небось, — что она произвела на меня сильное впечатление, что я готов влюбиться и т. д.? Пустяки, брат! Пора и честь знать. Довольно подурачился; полно! Не в мои годы начинать жизнь сызнова. Притом же мне и прежде не такие женщины нравились… Впрочем, какие женщины мне нравились!!

Я содрогаюсь — сердцу больно

Мне стыдно идолов моих.

Во всяком случае, я очень рад этому соседству, рад возможности видеться с умным, простым, светлым существом; а что будет дальше, узнаешь в свое время.

Твой П. Б.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

От того же к тому же

Сельцо М…ое, 20 июня 1850.

Чтение произошло вчера, милый друг, и как именно, о том следуют пункты. Прежде всего спешу сказать: успех неожиданный… то есть «успех» — не то слово… Ну, слушай. Я приехал к обеду. За столом нас было шестеро: она, Приимков, дочка, гувернантка (незначительная белая фигурка), я и какой-то старый немец, в коротеньком коричневом фраке, чистый, выбритый, потертый, с самым смирным и честным лицом, с беззубой улыбкой, с запахом цикорного кофе… все старые немцы так пахнут. Меня с ним познакомили: это был некто Шиммель, учитель немецкого языка у соседей Приимкова, князей Х…х. Вера Николаевна, кажется, благоволит к нему и пригласила его присутствовать на чтении. Мы обедали поздно и долго не выходили из-за стола, потом гуляли. Погода была чудесная. Утром шел дождь и ветер шумел, а к вечеру все утихло. Мы вместе с нею вышли на открытую поляну. Прямо над поляной легко и высоко стояло большое розовое облако;

как дым, тянулись по нем серые полосы; на самом краю его, то показываясь, то исчезая, дрожала звездочка, а немного подалее виднелся белый серп месяца на слегка поалевшей лазури. Я указал Вере Николаевне на это облако.

— Да, — сказала она, — это прекрасно, но посмотрите-ка сюда.

Я оглянулся. Закрывая собою заходившее солнце, вздымалась огромная темно-синяя туча; видом своим она представляла подобие огнедышащей горы; ее верх широким снопом раскидывался по небу; яркой каймой окружал ее зловещий багрянец и в одном месте, на самой середине, пробивал насквозь ее тяжелую громаду, как бы вырываясь из раскаленного жерла…

— Быть грозе, — заметил Приимков.

Но я отдаляюсь от главного. Я в последнем письме забыл тебе сказать, что, приехав домой от Приимковых, я раскаивался, что назвал именно «Фауста»; для первого раза Шиллер гораздо бы лучше годился, уж коли дело пошло на немцев. Особенно пугали меня первые сцены до знакомства с Гретхен; насчет Мефистофеля я тоже не был покоен. Но я находился под влиянием «Фауста» и ничего другого не мог бы прочесть с охотой. Когда уже совсем стемнело, мы отправились в

китайский домик; его накануне привели в порядок. Прямо против двери, перед диванчиком, стоял круглый стол, покрытый ковром; кругом расставлены были кресла и стулья; на столе горела лампа. Я сел на диванчик, достал книжку. Вера Николаевна поместилась на креслах несколько поодаль, недалеко от двери. За дверью, среди тьмы, выставлялась, слегка качаясь, зеленая ветка акации, освещенная лампой; изредка вливалась в комнату струя ночного воздуха. Приимков сел близ меня у стола, немец возле него. Гувернантка осталась с Наташей в доме. Я произнес небольшую вступительную речь: упомянул о старинной легенде доктора Фауста, о значении Мефистофеля, о самом Гете и попросил остановить меня, если что покажется непонятным. Потом я откашлянулся… Приямков спросил меня, не нужно ли мне воды с сахаром и, по всему можно было заметить, остался очень собой доволен, что сделал мне этот вопрос. Я отказался. Глубокое молчание воцарялось. Я начал читать, не поднимая глаз; мне было неловко, сердце билось, и голос дрожал. Первое восклицание сочувствия вырвалось у немца, и в продолжение чтения он один нарушал тишину… «Удивительно! возвышенно! — твердил он, изредка прибавляя: — А

вот это глубоко». Приимков, как я мог заметить, скучал: по-немецки понимал он довольно плохо и сам сознавался, что стихов не любит!.. Вольно ж было ему! Я за столом хотел было намекнуть, что чтение может обойтись без него, да посовестился. Вера Николаевна не шевелилась; раза два я украдкой взглянул на нее: глаза ее внимательно и прямо были устремлены на меня; ее лицо мне показалось бледным. После первой встречи Фауста с Гретхен она отделилась от спинки кресел, сложила руки и в таком положении осталась неподвижной до конца. Я чувствовал, что Приимкову тошно приходилось, и это меня сперва охлаждало, но понемногу я забыл о нем, разгорячился и читал с жаром, с увлечением… Я читал для одной Веры Николаевны: внутренний голос говорил мне, что «Фауст» на нее действует. Когда я кончил (интермеццо я пропустил: эта штука по манере принадлежит уже ко второй части; да из «Ночи на Брокене» я кое-что выкинул)… когда я кончил, когда прозвучало это последнее «Генрих!» — немец с умилением произнес: «Боже! как прекрасно!» Приимков, словно обрадованный (бедняк!) вскочил, вздохнул и начал благодарить меня за доставленное удовольствие… Но я не отвечал ему: я глядел на Веру Николаевну… Я хотел

услыхать, что она скажет. Она встала, подошла нерешительными шагами к двери, постояла на пороге и тихонько вышла в сад. Я бросился за ней вслед. Она успела уже отойти несколько шагов; платье ее чуть белело в густой тени.

— Что же? — крикнул я, — вам не понравилось? Она остановилась.

— Можете вы оставить мне эту книгу? — раздался ее голос.

— Я вам ее подарю, Вера Николаевна, если вы желаете иметь ее.

— Благодарствуйте! — отвечала она и скрылась.

Приимков и немец подошли ко мне.

— Как удивительно тепло! — заметил Приимков, — даже душно. Но куда жена пошла?

— Кажется, домой, — отвечал я.

— Я думаю, скоро пора ужинать, — возразил он. — Вы превосходно читаете, — прибавил он погодя немного.

— Вере Николаевне, кажется, понравился «Фауст», — проговорил я.

— Без сомнения! — воскликнул Приимков.

— О, конечно! — подхватил Шиммель.

Мы пришли в дом.

— Где барыня? — спросил Приимков у попав-

шейся нам навстречу горничной.

— В спальню пойти изволили.

Приимков отправился в спальню. Я вышел на террасу вместе с Шиммелем. Старик поднял глаза к небу.

— Сколько звезд! — медленно проговорил он, понюхав табаку, — и это все миры, — прибавил он и понюхал в другой раз.

Я не почел за нужное отвечать ему и только молча посмотрел вверх. Тайное недоумение тяготило мою душу… Звезды, мне казалось, серьезно глядели на нас. Минут через пять явился Приимков и позвал нас в столовую. Скоро пришла и Вера Николаевна. Мы сели.

— Посмотрите-ка на Верочку, — сказал мне Приимков.

Я взглянул на нее.

— Что? ничего не замечаете?

Я действительно заметил перемену в ее лице, но, не знаю почему, отвечал:

— Нет, ничего.

— Глаза у ней красны, — продолжал Пржимков.

Я промолчал.

— Вообразите, я пришел к ней наверх и застаю ее: она плачет. Этого с ней давно не случалось.

Я вам могу оказать, когда она в последний раз плакала: когда Саша у нас скончалась. Вот что вы наделали с вашим «Фаустом»! — прибавил он с улыбкой.

— Стало быть, Вера Николаевна, — начал я, — вы теперь видите, что я был прав, когда…

— Я этого не ожидала, — перебила она меня, — но бог еще знает, правы ли вы. Может быть, оттого матушка и запрещала мне читать подобные книги, что она знала…

Вера Николаевна остановилась.

— Что знала? — повторил я. — Говорите.

— К чему? Мне и так совестно: о чем это я плакала? Впрочем, мы еще с вами потолкуем. Я многое не совсем поняла.

— Отчего же вы меня не остановили?

— Слова-то я все поняла и смысл их, но…

Она не докончила речи и задумалась. В это мгновение из саду пронесся шум листьев, внезапно поколебленных налетевшим ветром. Вера Николаевна вздрогнула и повернулась лицом к раскрытому окну.

— Я вам говорил, что будет гроза! — воскликнул Приимков. — А ты, Верочка, чего это так вздрагиваешь?

Она взглянула на него молча. Слабо и далеко

сверкнувшая молния таинственно отразилась на ее недвижном лице.

— Все по милости «Фауста», — продолжал Приимков. — После ужина надо будет сейчас на боковую… не правда ли, г. Шиммель?

— После нравственного удовольствия физический отдых столь же благодетелен, сколь полезен, — возразил добрый немец и выпил рюмочку водки.

После ужина мы тотчас разошлись. Прощаясь с Верой Николаевной, я пожал ей руку; рука у ней была холодна. Я пришел в отведенную мне комнату и долго стоял перед окном, прежде чем разделся и лег в постель. Предсказание Приимкова сбылось: гроза надвинулась и разразилась. Я слушал шум ветра, стук и хлопанье дождя, глядел, как при каждой вспышке молили церковь, вблизи построенная над озером, то вдруг являлась черною на белом фоне, то белою на черном, то опять поглощалась мраком… Но мысли мои были далеко. Я думал о Вере Николаевне, думал о том, что она мне скажет, когда прочтет сама «Фауста», думал о ее слезах, вспоминал, как она слушала…

Гроза уже давно прошла — звезды засияли, все замолкло кругом. Какая-то не известная мне птица пела на разные голоса, несколько раз

сряду повторяя одно и то же колено. Ее звонкий одинокий голос странно звучал среди глубокой тишины; а я все еще не ложился…

На другое утро я раньше всех сошел в гостиную и остановился перед портретом Ельцовой. «Что, взяла, — подумал я с тайным чувством насмешливого торжества, — ведь вот же прочел твоей дочери запрещенную книгу!» Вдруг мне почудилось… ты, вероятно, заметил, что глаза en face всегда кажутся устремленными прямо на зрителя… но на этот раз мне, право, почудилось, что старуха с укоризной обратила их на меня.

Я отвернулся, подошел к окну и увидел Веру Николаевну. С зонтиком на плече, с легкой белой косынкой на голове, шла она по саду. Я тотчас вышел из дому и поздоровался с нею.

— Я всю ночь не спала, — сказала она мне, — у меня голова болит; я вышла на воздух — авось пройдет.

— Неужели это от вчерашнего чтения? — спросил я.

— Конечно: я к этому не привыкла. В этой вашей книге есть вещи, от которых я никак отделаться не могу; мне кажется, это они мне так жгут голову, — прибавила она, приложив руку ко лбу.

— И прекрасно, — промолвил я, — но вот что

дурно: боюсь я, как бы эта бессонница и головная боль не отбили у вас охоты читать такие вещи.

— Вы думаете? — возразила она и сорвала мимоходом ветку дикого жасмина. — Бог знает! Мне кажется, кто раз ступит на эту дорогу, тот уже назад не вернется.

Она вдруг бросила ветку в сторону.

— Пойдемте сядемте в эту беседку, — продолжала она, — и, пожалуйста, до тех пор, пока я не заговорю с вами сама, не упоминайте мне… об этой книге. (Она как будто боялась произнести имя «Фауста».)

Мы вошли в беседку, сели.

— Я не буду говорить вам о «Фаусте», — начал я, — но вы позволите мне поздравить вас и сказать вам, что я вам завидую.

— Вы мне завидуете?

— Да; вам, как я теперь вас знаю, с вашей душою, сколько предстоит наслаждений! Есть великие поэты, кроме Гете: Шекспир, Шиллер… да и наш Пушкин… и с ним вам надо познакомиться.

Она молчала и чертила зонтиком по песку.

О, друг мой Семен Николаич! если б ты мог видеть, как она была мила в это мгновение: бледная почти до прозрачности, слегка наклоненная, усталая, внутренне расстроенная — и все-таки

ясная, как небо! Я говорил, говорил долго, потом умолк — и так сидел молча да глядел на нее…

Она не поднимала глаз и продолжала то чертить зонтиком, то стирать начерченное. Вдруг раздались проворные детские шаги: Наташа вбежала в беседку. Вера Николаевна выпрямилась, встала я, к удивлению моему, с какой-то порывистой нежностью обняла свою дочь… Это не в ее привычках. Потом явился Приимков. Седовласый, но аккуратный младенец Шиммель уехал до света, чтоб не пропустить урока. Мы пошли пить чай.

Однако я устал; пора кончить это письмо. Оно должно показаться тебе нелепым, смутным. Я сам чувствую себя смутным. Мне не по себе. Я не знаю, что со мною. Мне то и дело мерещится маленькая комната с голыми стенами, лампа, раскрытая дверь; запах и свежесть ночи, а там, возле двери, внимательное молодое лицо, легкие белые одежды… Я понимаю теперь, почему я хотел на ней жениться: я, видно, не так был глуп перед поездкой в Берлин, как я до сих пор думал. Да, Семен Николаич, в странном состоянии духа находится ваш друг. Все это, я знаю, пройдет… а если не пройдет — ну, что ж? не пройдет. Но я все-таки собой доволен: во-первых, я удивительный

провел вечер; а во-вторых, если я разбудил эту душу, кто может меня обвинить? Старуха Ельцова пригвождена к стене и должна молчать. Старуха!.. Подробности ее жизни не все мне известны; но я знаю, что она убежала из отцовского дома: видно, недаром она родилась от итальянки. Ей хотелось застраховать свою дочь… Посмотрим.

Бросаю перо. Ты, насмешливый человек, пожалуйста, думай обо мне что хочешь, но не глумись надо мною письменно. Мы с тобой старые приятели и должны щадить друг друга. Прощай!

Твой П. Б.

ПИСЬМО ПЯТОЕ

От того же к тому же

Сельцо М…ое, 26 июля 1850.

Я давно к тебе не писал, милый Семей Николаич; кажется, больше месяца. Писать было о чем, да лень одолела. Говоря правду, я почти не вспомнил о тебе все это время. Но из последнего твоего письма ко мне я могу заключить, что ты делаешь предположения на мой счет, которые несправедливы, то есть не совсем справедливы. Ты думаешь, что я увлечен Верой (мне как-то неловко называть ее Верой Николаевной); ты ошибаешься. Конечно, я вижусь с ней часто, она мне нравится чрезвычайно… да кому бы она не понравилась? Хотел бы я тебя посмотреть на моем месте. Удивительное создание! Проницательность мгновенная рядом с неопытностью ребенка, ясный, здравый смысл и врожденное чувство красоты, постоянное стремление к правде, к высокому, и понимание всего, даже порочного, даже смешного — и надо всем этим, как белые крылья ангела, тихая женская прелесть… Да что и говорить! Мы много читали, много тол-

ковали с ней в течение этого месяца. Читать с ней — наслаждение, какого я еще не испытывал. Точно новые страны открываешь. В восторг она ни от чего не приходит: все шумное ей чуждо; она тихо светится, вся, когда ей что нравится, и лицо принимает такое благородное и доброе… именно доброе выражение. С самого раннего детства Вера не знала, что такое ложь: она привыкла к правде, она дышит ею, а потому и в поэзии одна правда кажется ей естественной; она тотчас, без труда и напряжения, узнает ее, как знакомое лицо… великое преимущество и счастие! Нельзя за это не помянуть добром ее матери. Сколько раз думал я, глядя на Веру: да, прав Гете: «Добрый человек в неясном своем стремлении всегда чувствует, где настоящая дорога»[6]. Одно досадно: муж все тут вертится. (Пожалуйста, не смейся глупым смехом, не оскверняй даже мыслью нашей чистой дружбы.) Он столь же способен понимать поэзию, как я расположен играть на флейте, а не хочет отстать от жены, просветиться тоже желает. Иногда она сама меня выводит из терпенья; вдруг найдет на нее стих какой-то: ни читать не хочет, ни разговаривать, шьет в пяльцах, возится

---

[6] СНОСКИ: 6
«Фауст», пролог 1-й части.

с Наташей, с ключницей, в кухню вдруг сбегает или просто сидит, поджав руки, и посматривает в окошко, а не то примется играть с няней в дурачки… Я заметил: в этих случаях к ней приставать не должно, а лучше подождать, пока она сама подойдет, заговорит или возьмется за книжку. Самостоятельности в ней много, и я очень этому рад. Бывало, помнишь, в дни нашей юности, какая-нибудь девочка повторяет тебе, как умеет, твои же слова, а ты восхищаешься этим эхом и, пожалуй, поклоняешься ему, пока не раскусишь, в чем дело; а эта… нет: эта сама по себе. На веру она ничего не примет; авторитетом ее не запугаешь; спорить она не станет, но и не поддастся. О «Фаусте» мы с ней рассуждали не однажды: но — странное дело! — о Гретхен она ничего сама не говорит, а только слушает, что я ей скажу. Мефистофель ее пугает не как черт, а как «что-то такое, что в каждом человеке может быть»… Это ее собственные слова. Я начал было толковать ей, что это «что-то» мы называем рефлексией; но она не поняла слова рефлексия в немецком смысле: она только знает одну французскую «reflexion»[7] и привыкла почитать ее полезной. Удивитель-

---

[7] СНОСКИ: 7
«размышление» *(франц.)*.

ные наши отношения! С некоторой точки зрения я могу сказать, что имею на нее влияние большое и как бы воспитываю ее; но и она, сама того не замечая, во многом меня переделывает к лучшему. Я, например, только по ее милости недавно открыл, какая бездна условного, риторического во многих прекрасных, известных поэтических произведениях. К чему она остается холодною, то уже в моих глазах заподозрено. Да, я стал лучше, яснее. Быть к ней близким, видаться с нею и остаться прежним человеком — невозможно.

Что же из этого всего выйдет? — спросишь ты. Да, право, я думаю ничего. Я весьма приятно, проведу время до сентября, а там уеду. Темна и скучна покажется мне жизнь в первые месяцы… Привыкну. Я знаю, как опасна какая бы то ни было связь между мужчиной и молодой женщиной, как незаметно одно чувство сменяется другим. Я бы сумел оторваться, если б я не сознавал, что мы оба совершенно покойны. Правда, однажды между нами произошло что-то странное. Не знаю, как и вследствие чего — помнится, мы читали «Онегина» — я у ней поцеловал руку. Она слегка отодвинулась, устремила на меня взгляд (я, кроме ее, ни у кого не видал такого взгляда: в нем и задумчивость, и внимание, и какая-то строгость)…

вдруг покраснела, встала и ушла. В тот день мне уж не удалось быть с ней наедине. Она избегала меня и битых четыре часа играла с мужем, няней и гувернанткой в свои козыря! На другое утро она предложила мне идти в сад. Мы прошли его весь до самого озера. Она вдруг, не оборачиваясь ко мне, тихо прошептала: «Пожалуйста, вперед не делайте этого!» — и тотчас начала мне что-то рассказывать… Я был очень пристыжен.

Я должен сознаться, что образ ее не выходит у меня из головы, и я едва ли не с тем намерением стал писать к тебе письмо, чтобы иметь возможность думать и говорить о ней. Я слышу фырканье и топот лошадей: это мне подают коляску. Еду к ним. Кучер мой уже не спрашивает меня теперь, куда ехать, когда я сажусь в экипаж, — прямо везет к Приимковым. За две версты до их села, на крутом повороте дороги, усадьба их внезапно выглядывает из-за березовой рощи… У меня всякий раз радостно станет на сердце, как только блеснут вдали ее окна. Шиммель (безвредный этот старик изредка к ним приезжает; князей Х…х они, слава богу, видели всего раз)… Шиммель недаром говорит со свойственною ему скромною торжественностью, указывая на дом, где живет Вера: «Это обитель мира!» В этом доме точно

поселился мирный ангел…

Крылом своим меня одень,
Волненье сердца утиши,
И благодатна будет тень
Для очарованной души…

Ну, однако, довольно; а то ты бог знает что подумаешь. До следующего раза… Что-то напишу я в следующий раз? Прощай! Кстати, она никогда не скажет: прощайте, а всегда: ну, прощайте. Мне это ужасно нравится.

Твой П. Б.

P. S. Я не помню, сказывал ли я тебе, что она знает, что я за нее сватался.

ПИСЬМО ШЕСТОЕ

От того же к тому же

Сельцо М…ое, 10 августа 1850.

Сознайся, ты ожидаешь от меня письма либо отчаянного, либо восторженного… Не тут-то было. Письмо мое будет как все письма. Нового ничего не произошло, да, кажется, и произойти не может. На днях мы катались в лодке по озеру. Опишу тебе это катанье. Нас было трое: она, Шиммель и я. Не понимаю, что ей за охота так часто приглашать этого старика. Х…ие дуются на него, говорят, что он стал пренебрегать своими уроками. Впрочем, на этот раз он был забавен. Приимков не поехал с нами: у него болела голова. Погода была славная, веселая: большие, точно разодранные белые тучи по синему небу, везде блеск, шум в деревьях, плесканье и шлепанье воды у берега, на волнах беглые, золотые змейки, свежесть и солнце! Сперва мы с немцем гребли; потом мы подняли парус и помчались. Нос лодки так и занырял, а за кормою след шипел и пенился. Она села у руля и стала править; на голову она повязала платок: шляпу бы снесло; кудри

вырывались из-под него и мягко бились по воздуху. Она твердо держала руль своей загорелой ручкой и улыбалась брызгам, изредка летевшим ей в лицо. Я прикорнул на дне лодки, недалеко от ее ног; немец достал трубку, закурил свой кнастер и — вообрази запел довольно приятным басом. Сперва он спел старинную песенку: «Freu't euch des Lebens»[8], потом арию из «Волшебной флейты», потом романс под названием: «Азбука любви» — «Das A-B-C der Liebe». В этом романсе проводится — с приличными прибаутками, разумеется — вся азбука, начиная с А, Бе, Це, Де, — Вен их дих зе![9] и кончая: У, Фау, Ве, Икс — Мах эйнен кникс![10] Он пропел все куплеты с чувствительным выражением; но надо было видеть, как плутовски он прищурил левый глаз на слове: кишке! Вера засмеялась и погрозила ему пальцем. Я заметил, что, сколько мне кажется, г. Шиммель, в свое время, был малый не промах. «О да, и я мог постоять за себя!» — возразил он с важностью, выколотил пепел из трубки себе

---

[8] СНОСКИ: 8
«Радуйтесь жизни» *(нем.)*.

[9] СНОСКИ: 9
Когда я тебя вижу! *(нем. Wenn ich dich seh'!)*.

[10] СНОСКИ: 10
Сделай книксен! *(нем. Mach' einen Knix!)*.

на ладонь и, полезая пальцами в кисет, ухарски, сбоку, укусил мундштук чубука. «Когда я был студентом, — прибавил он, — о-хо-хо!» Больше он ничего не сказал. Но что это было за «о-хо-хо»! Вера попросила его спеть какую-нибудь студенческую песню, и он спел ей: «Knaster, den gelben», но на последней ноте сфальшивил. Очень уж он раскутился. Между тем ветер усилился, волны покатились довольно большие, лодку слегка накренило; ласточки зашныряли низко вокруг нас. Мы переставили парус, начали лавировать. Ветер вдруг перескочил, мы не успели справиться — волна шлепнула через борт, лодка сильно зачерпнула. И тут немец показал себя молодцом; вырвал у меня веревку и поставил парус как следовало, промолвив притом: «Вот как это делается в Куксгафене!» — «So macht man's in Guxhafen!»

Вера, вероятно, испугалась, потому что побледнела, но, по своему обыкновению, не произнесла ни слова, подобрала платье и поставила носки на перекладину лодки. Мне вдруг пришло в голову стихотворение Гете (я с некоторых пор весь заражен им)… помнишь: «На волнах сверкают тысячи колеблющихся звезд», и прочел его громко. Когда я дошел до стиха: «Глаза мои, зачем вы опускаетесь?» — она слегка приподняла свои глаза (я

сидел ниже ее: взор ее падал на меня сверху) и долго смотрела вдаль, щурясь от ветра... Легкий дождь налетел мгновенно и запрыгал пузырями по воде. Я предложил ей свое пальто; она накинула его себе на плечи. Мы пристали к берегу — не у пристани — и до дому дошли пешком. Я вел ее под руку. Мне все как будто хотелось сказать ей что-то; но я молчал. Однако я, помнится, спросил ее, зачем она, когда бывает дома, всегда сидит под портретом госпожи Ельцовой, словно птенчик под крылом матери? «Ваше сравнение очень верно, — возразила она, — я бы никогда не желала выйти из-под ее крыла». — «Не желали бы выйти на волю?» — спросил я опять. Она ничего не отвечала.

Я не знаю, зачем я рассказал тебе эту прогулку, — потому разве, что она осталась в моей памяти как одно из самых светлых событий прошедших дней, хотя в сущности какое же это событие? Мне было так отрадно и безмолвно весело, и слезы, слезы легкие и счастливые, так и просились из глаз.

Да! вообрази, на другой день, проходя в саду мимо беседки, слышу я вдруг — чей-то приятный, звучный женский голос поет: «Freu't euch des Lebens...» Я заглянул в беседку: это была Вера.

«Браво! — воскликнул я, — я и не знал, что у вас такой славный голос!» Она застыдилась и умолкла. Кроме шуток, у ней отличный, сильный сопрано. А она, я думаю, и не подозревала, что у ней хороший голос. Сколько нетронутых богатств еще таится в ней! Она сама себя не знает. Но не правда ли, что такая женщина в наше время редкость?

12 августа.

Престранный разговор был у нас вчера. Речь зашла сперва о привидениях. Вообрази: она в них верит и говорит, что имеет на то свои причины. Приимков, который тут же сидел, опустил глаза и покачал головою, как бы подтверждая ее слова. Я стал было ее расспрашивать, но скоро заметил, что этот разговор был ей неприятен. Мы начали говорить о воображении, о силе воображения. Я рассказал, что в молодости я, много мечтая о счастии (обыкновенное занятие людей, которым в жизни не повезло или не везет), между прочим, мечтал о том, какое было бы блаженство провести вместе с любимой женщиной несколько недель в Венеции. Я так часто думал об этом, особенно по ночам, что у меня понемногу сложилась в голове целая картина, которую я мог, по желанию, вызвать перед собою: стоило только

закрыть глаза. Вот что мне представлялось: ночь, луна, свет от луны белый и нежный, запах… ты думаешь, лимона? нет, ванили, запах кактуса, широкая водная гладь, плоский остров, заросший оливами; на острове, у самого берега, небольшой мраморный дом, с раскрытыми окнами; слышится музыка, бог знает откуда; в доме деревья с темными листьями и свет полузавешенной лампы; из одного окна перекинулась тяжелая бархатная мантия с золотой бахромой и лежит одним концом на воде; а облокотись на мантию, рядом сидят _он_ и _она_ и глядят вдаль туда, где виднеется Венеция. Все это так ясно мне представлялось, как будто я все это видел собственными глазами. Она выслушала мои бредни и сказала, что и она тоже часто мечтает, но что ее мечтания другого рода: она либо воображает себя в степях Африки, с каким-нибудь путешественником, либо отыскивает следы Франклина на Ледовитом океане; живо представляет себе все лишения, которым должна подвергаться, все трудности, с которыми приходится бороться…

— Ты начиталась путешествий, — заметил ее муж.

— Может быть, — возразила она, — но коли уж мечтать, что за охота мечтать о несбыточном?

— А почему же нет? — подхватил я. — Чем бедное несбыточное виновато?

— Я не так выразилась, — промолвила она, — я хотела сказать: что за охота мечтать о самой себе, о своем счастии? О нем думать нечего; оно не приходит — что за ним гоняться! Оно как здоровье: когда его не замечаешь, значит, оно есть.

Эти слова меня удивили. В этой женщине великая душа, поверь мне… От Венеции разговор перешел к Италии, к итальянцам. Приимков вышел, мы с Верой остались одни.

— И в ваших жилах течет итальянская кровь, — заметил я.

— Да, — возразила она, — хотите, я покажу вам портрет моей бабушки?

— Сделайте одолжение.

Она пошла в свой кабинет и принесла оттуда довольно большой золотой медальон. Раскрыв этот медальон, я увидел превосходно написанные миниатюрные портреты отца Ельцовой и его жены — этой крестьянки из Альбано. Дед Веры поразил меня сходством с своей дочерью. Только черты у него, окаймленные белым облаком пудры, казались еще строже, заостреннее и резче, а в маленьких желтых глазах просвечивало какое-то угрюмое упрямство. Но что за лицо

было у итальянки! сладострастное, раскрытое, как расцветшая роза, с большими влажными глазами навыкате и самодовольно улыбавшимися, румяными губами! Тонкие чувственные ноздри, казалось, дрожали и расширялись, как после недавних поцелуев; от смуглых щек так и веяло зноем и здоровьем, роскошью молодости и женской силы… Этот лоб не мыслил никогда, да и слава богу! Она нарисована в своем альбанском наряде; живописец (мастер!) поместил виноградную ветку в ее волосах, черных, как смоль, с ярко-серыми отблесками: это вакхическое украшение идет как нельзя более к выражению ее лица. И знаешь ли, кого мне напоминало это лицо? Мою Манон Леско в черной рамке. И что всего удивительнее: глядя на этот портрет, я вспомнил, что у Веры, несмотря на совершенное несходство очертаний, мелькает иногда что-то похожее на эту улыбку, на этот взгляд…

Да, повторяю: ни она сама, ни другой кто на свете не знает еще всего, что таится в ней…

Кстати! Ельцова, перед свадьбой своей дочери, рассказала ей всю свою жизнь, смерть своей матери и т. д., вероятно, с поучительною целью. На Веру особенно подействовало то, что она услыхала о деде, об этом таинственном Ладанове. Не

от этого ли она верит в привидения? Странно! сама она такая чистая и светлая, а боится всего мрачного, подземного и верит в него…

Но довольно. К чему писать все это? Впрочем, так как оно уже написалось, то пусть и отправляется к тебе.

Твой П. Б.

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

От того же к тому же

Сельцо М…ое, 22 августа.

Берусь за перо спустя десять дней после последнего письма… О, мой друг, я не могу скрываться более… Как мне тяжело! как я ее люблю! Ты можешь себе представить, с каким горьким содроганьем пишу я это роковое слово. Я не мальчик, даже не юноша; я уже не в той поре, когда обмануть другого почти невозможно, а самого себя обмануть ничего не стоит. Я все знаю и вижу ясно. Я знаю, что мне под сорок лет, что она жена другого, что она любит своего мужа; я очень хорошо знаю, что от несчастного чувства, которое мною овладело, мне, кроме тайных терзаний и окончательной растраты жизненных сил, ожидать нечего, — я все это знаю, я ни на что не надеюсь и ничего не хочу; но от этого мне не легче. Уже с месяц тому назад начал я замечать, что влечение мое к ней становилось все сильней и сильней. Это меня отчасти смущало, отчасти даже радовало… Но мог ли я ожидать, что со мною повторится все то, чему, казалось, так же как и

молодости, нет возврата? Да что я говорю! Так я никогда не любил, нет, никогда! Манон Леско, Фретильоны — вот были мои кумиры. Такие кумиры разбить легко; а теперь… я только теперь узнал, что значит полюбить женщину. Стыдно мне даже говорить об этом; но оно так. Стыдно мне… Любовь все-таки эгоизм; а в мои годы эгоистом быть непозволительно: нельзя в тридцать семь лет жить для себя; должно жить с пользой, с целью на земле, исполнять свой долг, свое дело. И я принялся было за работу… Вот опять все развеяно, как вихрем! Теперь я понимаю, о чем я писал тебе в первом моем письме; я понимаю, какого испытания мне недоставало. Как внезапно обрушился этот удар на мою голову! Стою и бессмысленно гляжу вперед: черная завеса висит перед самыми глазами; на душе тяжело и страшно! Я могу себя сдерживать, я наружно спокоен не только при других, даже наедине; не бесноваться же мне в самом деле, как мальчику! Но червь вполз в мое сердце и сосет его днем и ночью. Чем это кончится? До сих пор я в ее отсутствие тосковал и волновался и при ней утихал тотчас… Теперь я и при ней непокоен — вот что меня пугает. О, друг мой, как тяжело стыдиться слез своих, скрывать их!.. Одной молодости позволительно

плакать; слезы идут к ней одной…

Я не могу перечесть это письмо; оно у меня вырвалось невольно, как стон. Я не могу ничего прибавить, ничего рассказать… Дай срок: я пряду в себя, овладею своею душою, я буду говорить с тобою, как мужчина, а теперь мне бы хотелось прислонить мою голову к твоей груди и…

О Мефистофель! и ты мне не помогаешь. Я остановился с намерением, с намерением раздражал в себе ироническую жилу, напоминал самому себе, как смешны и приторны покажутся мне через год, через полгода эти жалобы, эти излияния… Нет, Мефистофель бессилен, и зуб его притупел… Прощай.

Твой П. Б.

ПИСЬМО ВОСЬМОЕ

От того же к тому же

Сельцо М…ое, 8 сентября 1850.

Любезный друг мой, Семен Николаич!

Ты слишком к сердцу принял мое последнее письмо. Ты знаешь, как я всегда был склонен к преувеличиванию моих ощущений. Это у меня как-то невольно делается: бабья натура! С годами это, конечно, пройдет; но, признаюсь со вздохом, до сих пор я все еще не исправился. А потому успокойся. Не буду отрицать впечатления, произведенного на меня Верой, но опять-таки скажу: во всем этом нет ничего необыкновенного. Приезжать тебе сюда, как ты пишешь, совсем не следует. Скакать за тысячу верст бог знает из-за чего — да это было бы безумие! Но я очень благодарен тебе за это новое доказательство твоей дружбы и, поверь мне, никогда его не забуду. Твое путешествие сюда потому еще неуместно, что я сам скоро намерен выехать в Петербург. Сидя на твоем диване, я расскажу тебе много, а теперь, право, не хочется: чего доброго, опять разболтаюсь и напутаю. Перед выездом я тебе

еще напишу. Итак, до скорого свидания. Будь здоров и весел и не сокрушайся слишком об участи — преданного тебе П. Б.

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ

От того же к тому же

Село П…ое, 10 марта 1853.

Я долго не отвечал на твое письмо; я все эти дни думал о нем. Я чувствовал, что оно внушено тебе не праздным любопытством, а истинным дружеским участием; но я все-таки колебался: последовать ли мне твоему совету, исполнить ли твое желание? Наконец, я решился, я все расскажу тебе. Облегчит ли меня моя исповедь, как ты полагаешь, не знаю; но мне кажется, что я не вправе скрыть от тебя то, что навсегда изменило жизнь мою; мне кажется, что я даже остался бы виновным… увы! еще более виновным перед той незабвенной, милой тенью, если б я не поверил печальной нашей тайны единственному сердцу, которым я еще дорожу. Ты один, может быть, на земле помнишь о Вере, и ты судишь о ней легкомысленно и ложно: этого я допустить не могу. Узнай же все. Увы! это все можно передать двумя словами. То, что было между нами, промелькнуло мгновенно, как молния, и как молния принесло смерть и гибель…

С тех пор как ее не стало, с тех пор как я поселился в эту глушь, которой уже не покину до конца дней моих, прошло с лишком два года, и все так ясно в моей памяти, так еще живы мои раны, так горько мое горе…

Я не стану жаловаться. Жалобы, раздражая, утоляют печаль, но не мою. Стану рассказывать.

Помнишь ты мое последнее письмо — то письмо, в котором я вздумал было рассеять твои опасения и отсоветовал тебе выезжать из Петербурга? Ты заподозрил его принужденную развязность, ты не поверил нашему скорому свиданию: ты был прав. Накануне того дня, когда я написал к тебе, я узнал, что я любим.

Начертав эти слова, я понял, как трудно мне будет продолжить мой рассказ до конца. Неотступная мысль об ее смерти будет терзать меня с удвоенной силой, меня будут жечь эти воспоминания… Но я постараюсь совладать с собою и либо брошу писать, либо не скажу ненужного слова.

Вот как я узнал, что Вера меня любит. Прежде всего я должен тебе сказать (и ты мне поверишь), что до того дня я решительно ничего не подозревал. Правда, она иногда стала задумываться, чего с ней прежде не бывало; но я не понимал, отчего это с ней делалось. Наконец, в один день,

седьмого сентября, — памятный для меня день — вот что случилось. Ты знаешь, как я любил ее и как мне было тяжело. Я бродил, как тень, места не мог найти. Я хотел было остаться дома, но не вытерпел и отправился к ней. Я застал ее одну в кабинете. Приимкова не было дома: он уехал на охоту. Когда я вошел к Вере, она пристально посмотрела на меня и не ответила на мой поклон. Она сидела у окна; на коленях у ней лежала книга, которую я узнал тотчас: это был мой «Фауст». Лицо ее выражало усталость. Я сел против нее. Она попросила меня прочесть вслух ту сцену Фауста с Гретхен, где она спрашивает его, верит ли он в бога. Я взял книгу и начал читать. Когда я кончил, я взглянул на нее. Прислонив голову к спинке кресел и скрестив на груди руки, она все так же пристально смотрела на меня.

Не знаю, отчего у меня сердце вдруг забилось.

— Что вы со мной сделали! — проговорила она медленным голосом.

— Как? — произнес я е смущением.

— Да, что вы со мной сделали! — повторила она.

— Вы хотите сказать, — начал я, — зачем я убедил вас читать такие книги?

Она встала молча и пошла вон из комнаты. Я

глядел за нею вслед.

На пороге двери она остановилась и обернулась ко мне.

— Я вас люблю, — сказала она, — вот что вы со мной сделали.

Кровь мне бросилась в голову…

— Я вас люблю, я в вас влюблена, — повторила Вера.

Она ушла и заперла за собою дверь. Не стану тебе описывать, что произошло тогда со мной. Помню, я вышел в сад, забрался в глушь, прислонился к дереву, и сколько я там простоял, сказать не могу. Я словно замер; чувство блаженства по временам волной пробегало по сердцу… Нет, не стану говорить об этом. Голос Приимкова вызвал меня из оцепененья; ему послали сказать, что я приехал: он вернулся с охоты и искал меня. Он изумился, найдя меня в саду одного, без шляпы, и повел меня в дом. «Жена в гостиной, — промолвил он, пойдемте к ней». Ты можешь себе представить, с какими чувствами переступил я порог гостиной. Вера сидела в углу, за пяльцами; я взглянул на нее украдкой и долго потом не поднимал глаз. К удивлению моему, она казалась спокойной; в том, что она говорила, в звуке ее голоса не слышалось тревоги. Я наконец решился

посмотреть на нее. Взоры наши встретились… Она чуть-чуть покраснела и наклонилась над канвой. Я стал наблюдать за нею. Она как будто недоумевала; невеселая усмешка изредка трогала ее губы.

Приимков вышел. Она вдруг подняла голову и довольно громко спросила меня:

— Что вы теперь намерены сделать?

Я смутился и торопливо, глухим голосом, отвечал, что намерен исполнить долг честного человека — удалиться, «потому что, — прибавил я, — я вас люблю, Вера Николаевна, вы, вероятно, давно это заметили». Она опять наклонилась к канве и задумалась.

— Я должна переговорить с вами, — промолвила она, — приходите сегодня вечером после чаю в наш домик… знаете, где вы читали «Фауста».

Она сказала это так внятно, что я и теперь не постигаю, каким образом Приимков, который в это самое мгновенье входил в комнату, не слыхал ничего. Тихо, томительно тихо прошел этот день. Вера иногда озиралась с таким выражением, как будто спрашивала себя: не во сне ли она? И в то же время на лице ее была написана решимость. А я… я не мог прийти в себя. Вера меня любит! Эти слова беспрестанно вращались в моем уме;

но я не понимал их, — ни себя не понимал я, ни ее. Я не верил такому неожиданному, такому потрясающему счастию; с усилием припоминал прошедшее и тоже глядел, говорил, как во сне…

После чаю, когда я уже начинал думать о том, как бы незаметно выскользнуть из дома, она сама вдруг объявила, что хочет идти гулять, и предложила мне проводить ее. Я встал, взял шляпу и побрел за ней. Я не смел заговорить, я едва дышал, я ждал ее первого слова, ждал объяснений; но она молчала. Молча дошли мы до китайского домика, молча вошли в него, и тут — я до сих пор не знаю, не могу понять, как это сделалось — мы внезапно очутились в объятиях друг друга. Какая-то невидимая сила бросила меня к ней, ее — ко мне. При потухающем свете дня ее лицо, с закинутыми назад кудрями, мгновенно озарилось улыбкой самозабвения и неги, и наши губы слились? поцелуй…

Этот поцелуй был первым и последним.

Вера вдруг вырвалась из рук моих и, с выражением ужаса в расширенных глазах, отшатнулась назад…

— Оглянитесь, — сказала она мне дрожащим голосом, — вы ничего не видите? Я быстро обернулся.

— Ничего. А вы разве что-нибудь видите?

— Теперь не вижу, а видела. Она глубоко и редко дышала.

— Кого? что?

— Мою мать, — медленно проговорила она и затрепетала вся.

Я тоже вздрогнул, словно холодом меня обдало. Мне вдруг стало жутко, как преступнику. Да разве я не был преступником в это мгновенье?

— Полноте! — начал я, — что вы это? Скажите мне лучше…

— Нет, ради бога, нет! — перебила она и схватила себя за голову. — Это сумасшествие… Я с ума схожу… Этим шутить нельзя — это смерть… Прощайте…

Я протянул к ней руки.

— Остановитесь, ради бога, на мгновение, — воскликнул я с невольным порывом. Я не знал, что говорил, и едва держался на ногах. — Ради бога… ведь это жестоко.

Она взглянула на меня.

— Завтра, завтра вечером, — проговорила она, — не сегодня, прошу вас… уезжайте сегодня… завтра вечером приходите к калитке сада, возле озера. Я там буду, я приду… я клянусь тебе, что приду, — прибавила она с увлечением, и глаза

ее блеснули, — кто бы ни останавливал меня, клянусь! Я все скажу тебе, только пусти меня сегодня.

И, прежде чем я мог промолвить слово, она исчезла.

Потрясенный до основания, я остался на месте. Голова моя кружилась. Сквозь безумную радость, наполнявшую все мое существо, прокрадывалось тоскливое чувство… Я оглянулся. Страшна мне показалась глухая сырая комната, в которой я стоял, с ее низким сводом и темными стенами.

Я вышел вон и направился тяжелыми шагами к дому. Вера дожидалась меня на террасе; она вошла в дом, как только я приблизился, и тотчас же удалилась к себе в спальню.

Я уехал.

Как я провел ночь и следующий день до вечера — этого передать нельзя. Помню только, что я лежал ничком, спрятав лицо в руки, вспоминал ее улыбку перед поцелуем, шептал: «Вот она, наконец…»

Вспоминал я также слова Ельцовой, переданные мне Верой. Она ей сказала однажды: «Ты как лед: пока не растаешь, крепка, как камень, а растаешь, и следа от тебя не останется».

Еще вот что мне приходило на память: мы как-

то толковали с Верой о том. что значит уменье, талант.

— Я умею только одно, — сказала она, — молчать до последней минуты.

Я тогда ничего не понимал.

«Но что значит ее испуг?.. — спрашивал я себя. — Неужели она точно видела Ельцову? Воображение!» — думал я и снова предавался ощущениям ожидания.

В тот же день я написал тебе — с какими мыслями, жутко вспомнить — то лукавое письмо.

Вечером — солнце еще не садилось — я уже стоял шагах в пятидесяти от калитки сада, в высоком и густом лознике на берегу озера. Я из дому пришел пешком. Сознаюсь к стыду моему: страх, страх самый малодушный наполнял мою грудь, я беспрестанно вздрагивал… но я не чувствовал раскаяния. Спрятавшись между ветвями, я неотступно глядел на калитку. Она не растворялась. Вот село солнце, вот завечерело; вот уже звезды выступили, и небо почернело. Никто не показывался. Лихорадка меня била. Наступила ночь. Я не мог терпеть долее, осторожно вышел из лозника и подкрался к калитке. Все было тихо в саду. Я кликнул шепотом Веру, кликнул в другой раз, в третий… Ничей голос не отозвался. Прошло еще

полчаса, прошел час; совсем темно стало. Ожидание меня истомило; я потянул к себе калитку, разом отворил ее и на цыпочках, словно вор, направился к дому. Я остановился в тени лип.

В доме почти все окна были освещены; люди ходили взад и вперед но комнатам. Это удивило меня: часы мои, сколько я мог различить при тусклом свете звезд, показывали половину двенадцатого. Вдруг раздался стук за домом: экипаж съезжал со двора.

«Видно, гости», — подумал я. Потеряв всякую надежду видеть Веру, я выбрался из сада и проворными шагами пошел домой. Ночь была темная, сентябрьская, но теплая и без ветра. Чувство не столько досады, сколько печали, которое овладело было мною, рассеялось понемногу, и я пришел к себе домой немного усталый от быстрой ходьбы, но успокоенный тишиною ночи, счастливый и почти веселый. Я вошел в спальню, отослал Тимофея, не раздеваясь бросился на постель и погрузился в думу.

Сперва мечты мои были отрадны; но скоро я заметил в себе странную перемену. Я начал ощущать какую-то тайную, грызущую тоску, какое-то глубокое, внутреннее беспокойство. Я не мог понять, отчего оно происходило; но мне станови-

лось жутко и томно, точно близкое несчастие мне грозило, точно кто-то милый страдал в это мгновенье и звал меня на помощь. На столе восковая свечка горела небольшим неподвижным пламенем, маятник стучал тяжело и мерно. Я опер голову на руку и принялся глядеть в пустой полумрак моей одинокой комнаты. Я подумал о Вере, и душа во мне заныла: все, чему я так радовался, показалось мне, как оно и следовало, несчастием, безвыходной пагубой. Чувство тоски во мне росло и росло, я не мог лежать долее; мне вдруг опять почудилось, что кто-то зовет меня умоляющим голосом… Я приподнял голову и вздрогнул; точно, я не обманывался: жалобный крик примчался издалека и прильнул, словно дребезжа, к черным стеклам окон. Мне стало страшно: я вскочил с постели, раскрыл окно. Явственный стон ворвался в комнату и словно закружился надо мной. Весь похолодев от ужаса, внимал я его последним, замиравшим переливам. Казалось, кого-то резали в отдаленье, и несчастный напрасно молил о пощаде. Сова ли это закричала в роще, другое ли какое существо издало этот стон, я не дал себе тогда отчета, но, как Мазепа Кочубею, отвечал криком на зловещий звук.

— Вера, Вера! — воскликнул я, — ты ли это зо-

вешь меня?

Тимофей, заспанный и изумленный, явился предо мною.

Я опомнился, выпил стакан воды, перешел в другую комнату; но сон не посетил меня. Сердце во мне билось болезненно, хоть и нечасто. Я уже не мог предаваться мечтам о счастии; я уже не смел верить ему.

На другой день перед обедом я отправился к Приимкову. Он встретил меня с озабоченным лицом.

— Жена у меня больна, — начал он, — в постели лежит; я посылал за доктором.

— Что с ней?

— Не понимаю. Вчера ввечеру пошла было в сад и вдруг вернулась вне себя, перепуганная. Горничная за мной прибежала. Я прихожу, спрашиваю жену: что с тобой? Она ничего не отвечает и тут же слегла; ночью открылся бред. В бреду бог знает что говорила, вас поминала. Горничная мне сказала удивительную вещь: будто бы Верочке в саду ее мать покойница привиделась, будто бы ей показалось, что она идет к ней навстречу, с раскрытыми руками.

Ты можешь себе представить, что я почувствовал при этих словах.

— Конечно, это вздор, — продолжал Приимков, — однако я должен сознаться, что с моей женой в этом роде случались необыкновенные вещи.

— И, скажите, Вера Николаевна очень нездорова?

— Да, нездорова: ночью плохо было; теперь она в забытьи.

— Что же оказал доктор?

— Доктор сказал, что болезнь еще не определилась…

12 марта.

Я не могу продолжать так, как начал, любезный друг: это стоит мне слишком больших усилий и слишком растравляет мои раны. Болезнь, говоря словами доктора, определилась, и Вера умерла от этой болезни. Она двух недель не прожила после рокового дня нашего мгновенного свидания. Я ее видел еще раз перед ее кончиной. У меня нет воспоминания более жестокого. Я уже знал от доктора, что надежды нет. Поздно вечером, когда уже все улеглись в доме, я подкрался к дверям ее спальни и заглянул в нее. Вера лежала на постели с закрытыми глазами, худая, маленькая, с лихорадочным румянцем на щеках. Как окаменелый, смотрел я на нее. Вдруг она раскрыла глаза,

устремила их на меня, вгляделась и, протянув исхудалую руку

Чего хочет он на освященном месте,
Этот... вот этот...[11]

произнесла она голосом до того страшным, что я бросился бежать. Она почти все время своей болезни бредила «Фаустом» и матерью своей, которую называла то Мартой, то матерью Гретхен.

Вера умерла. Я был на ее похоронах. С тех пор я покинул все и поселился здесь навсегда.

Подумай теперь о том, что я рассказал тебе; подумай о ней, об этом существе, так скоро погибшем. Как это случилось, как растолковать это непонятное вмешательство мертвого в дела живых, я не знаю и никогда знать не буду; но ты согласись, что не припадок прихотливой хандры, как ты выражаешься, заставил меня удалиться от общества. Я стал не тот, каким ты знал меня: я многому верю теперь, чему не верил прежде. Я все это время столько думал об этой несчастной женщине (я чуть не сказал: девушке), об ее про-

---

[11] СНОСКИ: 11

Was will er an dem heiligen Ort,
Der da... der dort...

«Фауст», 1-я часть. Последняя сцена.

исхождении, о тайной игре судьбы, которую мы, слепые, величаем слепым случаем. Кто знает, сколько каждый живущий на земле оставляет семян, которым суждено взойти только после его смерти? Кто скажет, какой таинственной цепью связана судьба человека с судьбой его детей, его потомства, и как отражаются на них его стремления, как взыскиваются с них его ошибки? Мы все должны смириться и преклонить головы перед Неведомым.

Да, Вера погибла, а я уцелел. Помню, когда я был еще ребенок, у нас в доме была красивая ваза из прозрачного алебастра. Ни одно пятнышко не позорило ее девственной белизны. Однажды, оставшись наедине, я начал качать цоколь, на котором она стояла… ваза вдруг упала и разбилась вдребезги. Я обмер от испуга и стоял неподвижно перед осколками. Отец мой вошел, увидал меня и сказал: «Вот посмотри, что ты сделал: уж не будет у нас нашей прекрасной вазы; теперь уж ничем ее поправить нельзя». Я зарыдал. Мне показалось, что я совершил преступление.

Я возмужал — и легкомысленно разбил сосуд в тысячу раз драгоценнейший…

Напрасно говорю я себе, что я не мог ожидать такой мгновенной развязки, что она меня самого

поразила своей внезапностью, что я не подозревал, какое существо была Вера. Она, точно, умела молчать до последней минуты. Мне следовало бежать, как только я почувствовал, что люблю ее, люблю замужнюю женщину; но я остался — и вдребезги разбилось прекрасное создание, и с немым отчаянием гляжу я на дело рук своих.

Да, Ельцова ревниво сторожила свою дочь. Она сберегла ее до конца и, при первом неосторожном шаге, унесла ее с собой в могилу.

Пора кончить… Я тебе и сотой доли не сказал того, что бы следовало; но с меня и этого было довольно. Пускай же опять упадет на дно души все, что всплыло… Кончая, скажу тебе:

Одно убеждение вынес я из опыта последних годов: жизнь не шутка и не забава, жизнь даже не наслаждение… жизнь — тяжелый труд. Отречение, отречение постоянное — вот ее тайный смысл, ее разгадка: не исполнение любимых мыслей и мечтаний, как бы они возвышенны ни были, — исполнение долга, вот о чем следует заботиться человеку; не наложив на себя цепей, железных цепей долга, не может он дойти, не падая, до конца своего поприща; а в молодости мы думаем: чем свободнее, тем лучше, тем дальше уйдешь. Молодости позволительно так думать;

но стыдно тешиться обманом, когда суровое лицо истины глянуло наконец тебе в глаза.

Прощай! Прежде я прибавил бы: будь счастлив; теперь скажу тебе: старайся жить, оно не так легко, как кажется. Вспоминай обо мне, не в часы печали — в часы раздумья, и сохраняй в душе твоей образ Веры во всей его чистой непорочности… Еще раз прощай!

Твой П. Б.

ВАРИАНТЫ

В настоящем разделе публикуются варианты всех прижизненных изданий входящих в данный том произведений, варианты наборных рукописей, а также некоторые варианты черновых автографов. Из вариантов рукописей в настоящем разделе приводятся:

к повести «Поездка в Полесье» — первая и вторая редакции начала продолжения («Третий день») по черновому автографу и варианты наборной рукописи;

к повести «Ася» — варианты наборной рукописи;

к роману «Дворянское гнездо» — наиболее существенные варианты чернового автографа.

Все варианты рукописей публикуются в настоящем издании впервые.

Варианты черновых автографов повести «Ася» и рассказа «Поездка в Полесье», не вошедшие в настоящий том, будут напечатаны в одном из «Тургеневских сборников», издаваемых Институтом русской литературы АН СССР.

Описания сохранившихся черновых автогра-

фов «Поездки в Полесье», «Аси» и «Дворянского гнезда» — с приведением некоторых вариантов, помогающих воссоздать историю текстов, — даются в разделе «Примечания», в комментариях к каждому из указанных произведений.

Система подачи вариантов изложена в уже вышедших томах настоящего издания (см. т. I, стр. 475–476; т. V, стр. 434; т. VI, стр. 400).

Варианты, находящиеся в разных источниках, но совпадающие между собой, объединяются и помещаются однажды, лишь с указанием к каждому такому варианту (в скобках) всех источников текста, в которых имеется данный вариант.

Источники текстов даются в следующих сокращениях (сиглах):

Рукописные источники

НР — наборная рукопись.
ЧА — черновой автограф.

Печатные источники

Б Чт — «Библиотека для чтения».
С — «Современник».
1856 — Повести и рассказы И. С. Тургенева. С

1844 г. по 1856 г. Часть III. СПб., 1856.

1859 — Дворянское гнездо. Роман И. С. Тургенева. М., 1859.

1860 — Сочинения И. С. Тургенева. Исправленные и дополненные. Издание Н. А. Основского. Тома I, III и IV. М., 1860.

1865 — Сочинения И. С. Тургенева (1844–1864). Издание братьев Салаевых. Тома III и IV. Карлсруэ, 1865.

1868 — Сочинения И. С. Тургенева (1844–1868). Издание братьев Салаевых. Часть 4. М., 1868.

1869 — Сочинения И. С. Тургенева (1844–1868). Издание братьев Салаевых. Часть 3. М., 1869.

1874 — Сочинения И. С. Тургенева (1844–1868). Издание братьев Салаевых. Части 3 и 4. М… 1874.

1880 — Сочинения И. С. Тургенева (1844-1868-1874-1880). Издание книжного магазина наследников братьев Салаевых. Тома III и VIII. М., 1880.

1883 — Полное собрание сочинений И. С. Тургенева. Посмертное издание Глазунова. Том VII. СПб., 1883.

ФАУСТ

Варианты прижизненных изданий

Entbehren sollst du, sollst entbehren / Entsagen

sollst du, sollst entsagen! (G, 1856, 1860) Стр. 10.

на потолок / на пол (1869)

какое-то дремотное бремя. / какое-то приятное томление, какое-то дремотное бремя. (С, 1856, 1860, 1865)

Эх, до чего я дописался! / Эк, до чего я дописался! (С, 1866, 1866, 1869, 1874) Стр. 14.

много знала / много прочла и много знала (С, 1856, 1860, 1865, 1869)

слушала внимательно / слушала внимательно — и только (С, 1856)

тех тайных сил / тех тайных, темных сил (С, 1856)

дружелюбные и ровные / дружелюбные и тихие (С, 1856, 1860)

посетил меня / он посетил меня (С, 1856, 1860, 1865, 1869)

вспомнили про старину / вспомнили старину (С, 1856, 1860, 1865, 1869, 1874)

соломенную шляпу, детскую шляпу / соломенную шляпку, детскую шляпку (С, 1856, 1860)

мух нет / мух нету (С, 1856, 1860, 1865, 1869, 1874)

Прямо над поляной / Прямо над нею (С, 1856, 1860)

по-немецки понимал / по-немецки понимает

(С, 1856, 1860, 1865, 1869, 1874)

выпил рюмочку водки / выпил рюмку водки (С, 1856, 1860)

вы позволите / вы позвольте (С, 1856, 1860)

здравый смысл / здоровый смысл (С, 1856, 1860)

просились из глаз / просились на глаза (С, 1856, 1860, 1865)

что у Веры / что и у Веры (С, 1856, 1860, 1865)

когда я написал к тебе / когда я писал к тебе (С, 1856)

При потухающем свете дня / При потухшем свете дня (С, 1856, 1860)

с закрытыми глазами / с раскрытыми глазами (1860, 1865)

вгляделась и, протянув исхудалую руку / вгляделась и, к ужасу моему, внезапно приподнялась и, протянув исхудалую руку (С, 1856)

ПРИМЕЧАНИЯ

Условные сокращения[12]

Места хранения рукописей

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР (Ленинград).

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва)

Bibl Nat — Национальная библиотека в Париже.

Печатные источники

Анненков — П. В. Анненков. Литературные воспоминания. Гослитиздат, М., 1960.

Боткин и Тургенев — В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка 1851–1869. По материалам Пушкинского Дома и Толстовского музея. Приготовил к печати Н. Л. Бродский. «Academia», М.-Л., 1930.

Б Чт — «Библиотека для чтения» (журнал).

---

[12] СНОСКИ: 12

В список не включены сокращения, совпадающие с сиглами, указанными на стр. 297–298.

Герцен — А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, тт. I–XXIX. Издательство Академии наук СССР, М., 1954–1964. Издание продолжается.

Гончаров, Необыкновенная история — И. А. Гончаров. Необыкновенная история. — В кн.: Сборник Российской публичной библиотеки, т. II, вып. 1. Пгр., 1924, стр. 7-189.

Гончаров и Тургенев — И. А. Гончаров и И. С. Тургенев. По неизданным материалам Пушкинского Дома. С предисл. и примеч. Б, М. Энгельгардта. «Academia», Пгр., 1923.

Добролюбов — Н. А. Добролюбов. Полное собрание сочинений под общей редакцией П. И. Лебедева-Полянского, тт. I–VI. ГИХЛ и Гослитиздат, М. — Л., 1934–1941 (1945).

Историч Вестн — «Исторический вестник» (журнал).

Клеман, Летопись — М. К. Клеман. Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева. Ред. Н. К. Пиксанова. «Academia», М. — Л., 1934.

Лит Насл — «Литературное наследство», тт. 1-71. Издательство Академии наук СССР, М., 1931–1963. Издание продолжается.

Моск Вед — «Московские ведомости» (газета).

Некрасов — Н. А. Некрасов. Полное собрание

сочинений и писем под общей редакцией В. Е. Евгеньева-Максимова, А. М. Еголина и К. И. Чуковского, тт. I–XII. Гослитиздат, М., 1948–1953.

ОЗ — «Отечественные записки» (журнал).

ПД, Описание — Описание рукописных и изобразительных материалов Пушкинского Дома, вып. IV, И. С. Тургенев. Издательство Академии наук СССР, Л., 1958.

Писарев — Д. И. Писарев. Сочинения в четырех томах. Гослитиздат, М., 1955–1956.

Р Вести — «Русский вестник» (журнал).

Р Сл — «Русское слово» (журнал).

Салтыков-Щедрин — Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений, тт. I–XX. Гослитиздат, М. — Л., 19341941.

Сб. ПД 1923 — «Сборник Пушкинского Дома на 1923 год». Пгр., 1922.

Спб Вед — «С. — Петербургские ведомости» (газета).

Творч путь Т, Сб — Творческий путь Тургенева. Сборник статей под редакцией Н. Л. Бродского. Издательство «Сеятель», Пг., 1923.

Т и его время — Тургенев и его время. Первый сборник под редакцией Н. Л. Бродского. М. — Пгр., 1923.

Т и круг Совр — Тургенев и круг «Современ-

ника». Неизданные материалы. 1847–1861. «Academie», М. — Л., 1930.

Толстой — Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, тт. 190. Гослитиздат, М. — Л., 1928–1958.

Т, Письма — И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений и писем. Письма, тт. T-VI. Издательство Акячемии наук СССР, М. — Л., 1961–1963. Издание продолжается.

Труды ГБЛ — Труды Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, вып. III и IV. «Academia», М., 1934 и 1939.

Т сб (Пиксанов) — Тургеневский сборник. Пг. (Тургеневский кружок под рук. Н. К. Пиксанова), 1915.

Т, Сочинения — И. С. Тургенев. Сочинения под редакцией К. Халабаева и Б. Эйхенбаума, тт. I–XII. Госиздат и ГИХЛ, М. — Л., 1928–1934.

Т, СС — И. С. Тургенев. Собрание сочинений в двенадцати томах, тт. I–XII. Гослитиздат, М., 1953–1958.

Фет — А. Фет. Мои воспоминания, ч. 1. М., 1890.

Чернышевский — Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, тт. I–XVI. Гослитиздат, М., 1939–1953.

Щукинский сб — «Щукинский сборник», вып. I–X, М., 19021912.

Dolch — Oscar Dolch. Geschichte des deutschen Studententhums von der Grundung der deutschen Universitaten bis zu den deutschen Preihetskriegen. Leipzig, 1858.

Mazon — Manuscrits parisiens d'Ivan Tourguenev. Notices et extraits par Andre Mazon. Paris, 1930.

1858, Scenes — Scenes de la vie russe, par M. I. Tourgueneff. Paris, Hachette, 1858.

Седьмой том полного собрания сочинений И. С. Тургенева содержит произведения, написанные и изданные в 1856–1859 годах: повести «Фауст» (1856), «Поездка в Полесье» (1853–1857), «Ася» (1857–1858), роман «Дворянское гнездо» (1856–1859). Период, когда они написаны (за исключением «Поездки в Полесье», задуманной и начатой еще во время Спасской ссылки Тургенева), начинается после выхода в свет «Рудина», т. е. весной 1856 года, и кончается опубликованием в январском номере «Современника» 1859 г. «Дворянского гнезда», когда писатель уже начал работу над своим третьим романом — «Накануне».

Повесть «Фауст», напечатанная в октябрьской книжке «Современника» 1856 г. и одновременно включенная в трехтомное издание «Повестей и рассказов» Тургенева, вышедшее в свет в са-

мом начале ноября 1856 года, была последним произведением, написанным Тургеневым за его шестилетнее пребывание в России, в 1850–1856 годах. Создание «Аси» и начало работы над «Дворянским гнездом» относятся ко времени жизни писателя за границей — во Франции, Италии, Германии, Австрии; «Дворянское гнездо» обрабатывается и завершается по возвращении в Россию, летом и осенью 1858 года, в Спасском и в Петербурге. За границей же получает в 1857 году окончательный вид и начатая за четыре года перед тем «Поездка в Полесье». Эти биографические обстоятельства наложили известный отпечаток на все названные произведения, объединяющиеся в одном томе не только по хронологическим, но и по внутренним признакам.

«Рудиным» в основном была завершена длительная и многосторонняя работа Тургенева над художественным воплощением социально-психологического типа, занимавшего значительное место в русской общественной жизни в годы николаевской реакции, — типа «лишних людей», или, как называл их сам Тургенев, «русских людей культурного слоя»[13]. Но тема и ее про-

[13] СНОСКИ: 13
См. в томе VI вступительную статью к примечаниям.

блематика далеко еще не были исчерпаны, хотя восприятие автором героев рудинского типа, его суждение об их исторической роли определились уже в первом романе Тургенева, После «Рудина» перед писателем возникают новые проблемы, относящиеся к тому же общему вопросу — об исторической и современной роли дворянской интеллигенции, но возникают они в новых аспектах и изображаются с других сторон. К развитию и углублению этой темы побуждало Тургенева то новое состояние, в которое вступило русское общество после окончания Крымской войны: сознание происшедшего перелома и невозможности сохранения старого, николаевского порядка; ожидание близких реформ и надежда на новое царствование, быстрое разочарование и недовольство медлительностью и колебаниями правительства в вопросе о реформах; далее — с конца 1857 года первые, робкие и неясные, но уже реальные шаги в сторону отмены крепостного права.

В предстоящих реформах, как думал Тургенев и как считали близкие ему дворянские деятели, с которыми он общался за границей и особенно в Риме зимой 1857-58 годов, роль передовой дворянской интеллигенции должна была быть

очень велика, и так называемые «лишние люди» должны были найти себе достойное применение в реальной общественной деятельности.

Но вместе с тем личные переживания Тургенева, его собственное мироощущение в те же годы складывались так, что наряду с общественными вопросами, выдвигавшимися русской жизнью и волновавшими его, для писателя возникали и вопросы иного, индивидуально-этического порядка. Этическая проблематика была существенным звеном в прогрессивной идеологии этого переходного времени; в нее входили и вопросы воспитания и подготовки участников и деятелей новой исторической эпохи. Вопросы этики в их соотношении с общественным делом занимали большое место и в системе воззрений революционных демократов, в частности у Чернышевского, ко трактовались ими не так, как Тургеневым.

Тургенев, считая эти годы переломными для себя не только в литературно-общественном, но и в личном плане, переломными для всей его жизни, особенно склонен был подводить итоги своему прошлому и заниматься вопросами, одновременно лично психологического и общефилософского значения: вопросом «личного счастья» человека

или, точнее, его права на личное счастье в столкновении с его нравственным и общественным долгом; вопросом об отношении человеческой индивидуальности к окружающему ее миру, к природе, о месте человека в природе; наконец — опять-таки не только в общественном, но и в лично-этическом плане — вопросом об отношении дворянского интеллигента к народу и о его долге перед народом.

Первый из этих вопросов — о возможности достижения человеком личного счастья, когда эта возможность вступает в столкновение с моральным долгом, лежит в основе и «Фауста», и «Дворянского гнезда», и, хотя и в меньшей степени, «Аси». Как это наблюдается не раз в творчестве Тургенева, вопрос этот облекается в сюжетные формы, характерные для писателя, — в формы «испытания» героев чувством любви, причем в обеих повестях — и в «Фаусте», и в «Асе» — герой не выдерживает «испытания» и, как это уже было перед тем в «Рудине», оказывается морально слабым и неустойчивым по сравнению с героиней.

Та же основная тема в «Дворянском гнезде» осложняется и углубляется тем, что, в отличие от «Рудина» и ряда других предшествующих

произведений, оба центральных персонажа романа, каждый по-своему, являются морально сильными и своеобразными людьми. Поэтому и тема невозможности «личного счастья» развита в «Дворянском гнезде» с наибольшей глубиной и наибольшим трагизмом. При этом, однако, в самой сюжетной ситуации, изображенной в романе, содержится новый элемент, отсутствующий в пессимистическом «Фаусте», — суд писателя над прежними его идеалами самопожертвования. В отказе новых героев Тургенева от личного счастья нашла проявление та душевная ущербность, которая не дает им возможности стать новыми историческими деятелями. Но крушение надежд на личное счастье приводит Лаврецкого к новой проблеме — к мыслям о нравственном долге перед народом и о необходимости действенно помогать ему. В эти переживания Лаврецкого, в разрешение моральных проблем, поставленных в романе, Тургенев вложил много личного, отражающего испытанный им зимой 1856-37 годов глубокий творческий и психологический кризис.

Между «Фаустом», наиболее законченно выражающим философию отречения и пессимистический взгляд на жизнь, и «Дворянским гнездом»,

где идея отречения подвергается пересмотру и, в конце концов, осуждению, лежит переход, заполненный не только хронологически, но и в идейно-творческом отношении «Асей» и «Поездкой в Полесье». Последняя повесть (или, точнее, очерк) по своему происхождению и по времени замысла (1853) является своего рода продолжением «Записок охотника», в число которых она даже была включена в ближайшем издании сочинений Тургенева, 1860 года (но изъята из «Записок» и перенесена в состав повестей во всех следующих изданиях). «Поездка в Полесье» писалась с большими перерывами и при ее окончательной обработке в 1856-57 годах приобрела новые качества и наполнилась новым содержанием, глубоко разнящимся от содержания и тона «Записок охотника». Большое место в ней заняла философия природы в виде занимавшей Тургенева проблемы отношений между человеком и природой, проблемы ничтожества человеческого разума перед ее вечной стихийной жизнью, перед всемогущей силой, которой человек подвластен. Постановка и разрешение этой проблемы восходят, с одной стороны, к давним размышлениям Тургенева, неоднократно выражавшимся в его письмах, с другой — к воздействию философии

Шопенгауэра, которая именно в это время особенно внимательно воспринимается Тургеневым.

Переход от «Фауста» и «Поездки в Полесье» к «Дворянскому гнезду» знаменует, по существу, новый этап творческого пути Тургенева. В этом романе, несмотря на то, что действие его отодвинуто назад, и даже на довольно значительное расстояние (хронология событий, изображенных в нем, точно определена как весна и лето 1842 года; предыстория — женитьба Лаврецкого — относится к началу 30-х годов, а эпилог отнесен ко времени через восемь лет после основного действия, т. е. к 1850 году, и все это вполне соответствует реалиям романа), — несмотря на это, проблематика его вполне современна годам, в которые он был написан. То же мы видим и в «Асе», действие которой происходит «лет двадцать тому назад», т. е. в конце 1830-х годов. Такой герой, как Лаврецкий, мог явиться только _после_ Рудина, и некоторые его демократические, «мужицкие» черты открывают путь к героям нового типа — Инсарову и, в дальнейшем, Базарову. Что же касается «Аси», то недаром Чернышевский воспользовался образами этой повести, имевшими 20-летнюю давность, для приговора над дворянским либерализмом конца

50-х годов. В эпоху предреформенных ожиданий и все углубляющихся расхождений между разночинцами-демократами и дворянами-либералами шедшие навстречу революции демократы не только отказывались от союза с «лишними людьми» (союза, который Чернышевский еще в конце 1856 года считал полезным и желательным), но отказывали самим «лишним людям» в личной и общественной положительной значимости. И сам Тургенев, признав крушение стремлений Лаврецкого к личному счастью, увидел лишь один выход для его «одинокой старости» и «бесполезной жизни»: путь практической деятельности на пользу крепостного крестьянства.

Таковы основные черты, определяющие эволюцию творчества Тургенева за короткий, но наполненный важным содержанием период, охватываемый произведениями 1856–1858 годов.

Тексты произведений, входящих в настоящий том, печатаются по последним прижизненным авторизованным изданиям: «Фауст», «Поездка в Полесье», «Ася» по изданию Глазунова, СПб., 1883, том VII; последний отредактирован самим Тургеневым. «Дворянское гнездо» — по предшествующему изданию, наследников братьев Салаевых, СПб., 1880, том III, так как в издании

1883 года том III, содержащий этот роман, Тургенев, будучи во время его подготовки тяжело болен[14], просмотреть не смог.

Следует отметить, что в обоих изданиях — 1880 и 1883 — тексты, по сравнению со всеми предшествующими изданиями, а также с автографами, подверглись пересмотру и исправлению по линии приближения некоторых просторечных и архаических форм языка, в их лексической и грамматической структуре, к общелитературным формам, выработанным к концу 70-х годов. Таковы: «в уголке», «роста», «раза» (1880 и 1883) вместо «в уголку», «росту», «разу» (предшествующие издания); «расстраивает» вместо «расстроивает»; «квартира» вместо «квартера»; «клирос» вместо «крылос»; «плевательница» вместо «плевальница»; «шкаф» вместо «шкап»; полные формы отчеств («Иванович») вместо сокращенных («Иваныч»).

Эти и подобные им формы слов воспроизведены в издании по источникам, взятым за основу, а соответствующие им устарелые написания в

---

[14] СНОСКИ: 14

Текст тома III для издания 1883 года — тома, содержащего «Рудина» и «Дворянское гнездо», был просмотрен Тургеневым, но при пересылке из Парижа в Россию затерялся, и писатель, не имея возможности просмотреть его вторично, поручил это своему парижскому знакомому А. Ф. Онегину (см. наст, изд., т. VI, стр. 494–495).

разделе вариантов не приводятся.

Тексты и варианты произведений, входящих в настоящий том, подготовили и комментарии к ним написали: И. А. Битюгова («Фауст»), Т. П. Голованова («Дворянское гнездо»), Л. М. Лотман («Ася»), А. П. Могилянский («Поездка в Полесье»). Раздел «„Дворянское гнездо“ в иностранных переводах» и реальный комментарий к роману написаны М. П. Алексеевым, предисловие к вариантам и вступительная статья к комментариям — Н. В. Измайловым.

Редакторы тома: М. П. Алексеев и Н. В. Измайлов.

ФАУСТ
ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

С, 1856, э 10, отд. I, стр. 91-130.
1856, часть 3, стр. 321–385.
1860, том III, стр. 188–230.
1865, том III, стр. 387–435.
1869, часть 3, стр. 379–426.
1874, часть 3, стр. 377–423.
1880, том VII, стр. 173–220.
1883, том VII, стр. 186–238.

Автограф не сохранился.

Впервые опубликовано в С, 1856, э 10, отд. I, стр. 91-130, с-подписью: Ив. Тургенев (ценз. разр. 31 августа 1856 г.).

Печатается по тексту 1883 со следующими исправлениями по другим источникам:

Стр. 7, строки 13–14: «целых девять лет. Чего, чего не перебывало в эти девять лет!» вместо «целых девять лет» (по С и 1856).

Стр. 7, строка 23: «весь покривился» вместо «покривился» (по С и 1856).

Стр. 8, строки 2–3: «она даже вскрикнуть не могла» вместо «она вскрикнуть не могла» (по С

и 1856).

Стр. 14, строки 28–29: «человек, говорят, весьма замечательный» вместо «человек, говорят, замечательный» (по всем другим источникам).

Стр. 17, строки 33–34: «я не увижу более этой милой девушки» вместо «я не увижу этой милой девушки» (по всем другим источникам).

Стр. 18, строка 1: «в руки не дастся» вместо «в руки не дается» (по всем другим источникам).

Стр. 19, строка 14: «сообщить тебе» вместо «сообщить» (по всем другим источникам).

Стр. 31, строка 33: «сама подойдет» вместо «подойдет» '(по всем другим источникам).

Стр. 36, строки 14–15: «Я заглянул в беседку» вместо «Я взглянул в беседку» (по всем источникам до 1880).

Стр. 40, строки 3–4: «Теперь я и при ней» вместо «Теперь я ври ней» (по С, 1856, 1860, 1865, 1869).

Стр. 47, строка 2: «на постель» вместо «в постель» (по всем источникам до 1880).

Стр. 50, строка 2: «уж не будет» вместо «уже не. будет» (по С, 1856, 1860, 1865, 1869).

Стр. 50, строка 16: «сторожила» вместо «оберегала» (по всем источникам до 1880; указано Тургеневым в списке опечаток 1880, но не учтено в 1883).

В «Современнике» «Фауст» был напечатан с рядом существенных опечаток.

В письме к Д. Я. Колбасину от 2/14 ноября 1856 г. из Парижа Тургенев привел список этих опечаток и просил его принять меры, чтобы устранить их при включении «Фауста» в издание «Повестей и рассказов» 1856 г. (Т, Письма, т. III, стр. 33). Однако выполнить просьбу Тургенева Колбасину не удалось, так как к тому времени «Повести...» были уже отпечатаны. Указанные Тургеневым опечатки были устранены в издании 1860 г. Список поправок, составленный Тургеневым, был опубликован по его требованию в «Современнике» (1856, э 12, отд. Библиографии, стр. 50).

К работе над «Фаустом» Тургенев приступил в конце июня — начале июля 1856 г. Собираясь выехать в Москву и навестить В. П. Боткина, Тургенев писал ему 3/15 июля 1856 г. из Спасского: «Наговоримся — я тебе кое-что прочту — я таки сделал что-то, хотя совсем не то, что думал» (Т, Письма, т. II, стр. 372). И 13–14 (25–26) июля Тургенев уже читал Боткину в Кунцове черновой текст «Фауста», а 16–17 (28–29) июля в Ораниенбауме — Некрасову и Панаеву. Работа над повестью продолжалась и за границей, куда Тургенев выехал 21 июля (2 августа). 18 (30) августа из

Парижа Тургенев отослал рукопись «Фауста» в редакцию журнала «Современник». «Вот тебе, милый Панаев, — писал он в сопроводительном письме, — мой „Фауст“, выправленный по замечаниям Боткина, твоим и Некрасова. Желаю, чтоб он в этом виде понравился» (Т, Письма, т. III, стр. 8). «Фауст» Тургенева был опубликован в октябрьской книжке «Современника» за 1856 г. В том же номере вслед за ним была напечатана 1-я часть «Фауста» Гете в переводе А. Н. Струговщикова. Н. Г. Чернышевский сообщал об этом Н. А. Некрасову в Рим: «…мне не нравятся два „Фауста“ рядом — не потому, чтобы это было дурно для публики, напротив — но Тургеневу это, может быть, не понравится. Вы оправдайте „Современник“ перед ним в этом совершенною необходимостью — что же было поместить, кроме Струговщикова?» (Чернышевский, т. XIV, стр. 312). Некрасов в свою очередь писал Тургеневу: «…рядом с твоим „Фаустом“ в X э „Современника“ …поместили „Фауста“ в переводе Струговщикова — понравится ли тебе это? Кажется, ничего, а перевод Стр довольно хорош, и авось русский читатель прочтет его на этот раз, заинтересованный твоей повестью, которую наверно прочтет. Чернышевский оправдывается в помещении двух „Фаустов“ тем, что

нечего было печатать, и очень боится, чтоб ты не рассердился» (Некрасов, т. X, стр. 298).

Тургенев в письме к И. И. Панаеву от 3/15 октября высказывал свои опасения по этому поводу: «Я очень рад, — писал он, — что „Фауст“ в окончательном виде тебе понравился; дай бог, чтобы он понравился также публике. Вы хорошо делаете, что помещаете перевод Гетева „Фауета“; боюсь только, чтобы этот колосс, даже в (вероятно) недостаточном переводе Струговщикова, не раздавил моего червячка; но это участь маленьких; и ей должно покориться» (Т, Письма, т. III, стр. 19).

«Неловким» соседство тургеневского и гетевского «Фауста» считал и Е. Я. Колбасин (см. Т и круг Совр, стр. 277).

В связи с опубликованием «Фауста» в «Современнике» возник конфликт между Тургеневым и М. Н. Катковым как редактором «Русского вестника». М. Н. Катков принял «Фауста» за еще не написанную, но обещанную «Русскому вестнику» осенью 1855 г. повесть «Призраки», работа над которой задержалась, и в объявлении о подписке на журнал в 1857 г., помещенном в «Московских ведомостях» от 17 ноября 1856 г. (э 138), выступил с обвинением Тургенева в нарушении своего слова. Тургенев поместил в «Московских ведо-

мостях» опровержение, в котором разъяснил возникшее недоразумение (см. Моск Вед, 1856, 18 декабря, э 151), после чего Катков и Тургенев еще раз обменялись открытыми письмами (см. Моск Вед, 1856, 20 декабря, э 152 ж Моек Вед, 1857, 15 января, э 7). «Фауст» в данном случае послужил лишь поводом для столкновения, причиной которого было известие о заключенном Тургеневым «обязательном соглашении» об исключительном сотрудничестве в «Современнике» с января 1857 г.

«Фауст» писался Тургеневым в обстановке намечавшегося политического кризиса, после окончания Крымской войны и смерти Николая I. Невеселые впечатления от современной писателю русской действительности дополнялись его личными переживаниями. Внутренние истоки повести, обусловившие ее грустную лирическую тональность, раскрываются Тургеневым в письме к М. Н. Толстой от 25 декабря 1856/6 января 1857 г. «Видите ли, — писал Тургенев, — мне было горько стареться, не изведав полного счастья — и не свив себе покойного гнезда. Душа во мне была еще молода и рвалась и тосковала; а ум, охлажденный опытом, изредка поддаваясь ее порывам, вымещал на ней свою слабость горечью

и иронией Когда Вы меня знали, я еще мечтал о счастье, не хотел расстаться с надеждой; теперь я окончательно махнул на все это рукой „Фауст“ был написан на переломе, на повороте жизни — вся душа вспыхнула последним огнем воспоминаний, надежд, молодости…» (Т, Письма, т. III, стр. 65).

Изображая душевное состояние героя повести, вернувшегося в родовое имение после долгого отсутствия и полюбившего замужнюю женщину, Тургенев исходил из личного опыта. Те же воспоминания детства, то же грустно-созерцательное настроение (см. письмо к С. Т. Аксакову от 25 мая/6 июня 1856 г. — Т, Письма, т. II, стр. 356), та же «внутренняя тревога», мысли об одиночестве, неустроенности и тоска по «счастью» (см. письмо к Е. Е. Ламберт от 9/21 мая 1856 г., Т, Письма, т. II, стр. 349) овладели им при посещении Спасского в мае — июне 1856 г. «Я не рассчитываю более на счастье для себя, т. е. на счастье в том опять-таки тревожном смысле, в котором оно принимается молодыми сердцами; нечего думать о цветах, когда пора цветения прошла. Дай бог, чтобы плод по крайней мере был какой-нибудь — а эти напрасные порывания назад могут только помешать его созреванию. Должно учиться у

природы ее правильному и спокойному ходу, ее смирению...», — писал Тургенев Е. Е. Ламберт 10/22 июня 1856 г. из Спасского (Т, Письма, т. II, стр. 365). К такому же заключению в «Фаусте» приходит после крушения своих надежд на счастье Павел Александрович Б.

Воссоздавая образ старинного «дворянского гнезда», Тургенев в первой главе повести описывает Спасское, его окрестности, сад, фамильную библиотеку (см. ниже, реальный комментарий к повести, стр. 412). Позднее, в письме к Валентине Делессер от 5/17 июня 1865 г., Тургенев, желая дать своей корреспондентке представление о Спасском, сослался на описание в «Фаусте». «Немного северо-западнее Мценска как раз и находится деревня, где в убогом деревянном домишке, ветхом, но довольно чистом, стоящем посреди большого сада, сильно запущенного, но от этого еще более прекрасного, я живу уже два дня и откуда вам пишу. Не знаю, помните ли вы мой небольшой роман в письмах „Фауст“, так вот в первом его письме содержится довольно точное описание Спасского», — указывал Тургенев (Т, Письма, т. VI, стр. — 357–358, перевод с французского). То же подтверждал он и в письме к Теодору Шторму от 24 июня/6 июля — 3/15 июля 1868 г. (см. Т, Письма,

т. VII, стр. 393, перевод с немецкого).

Возможно, что прототипом героини повести, Веры Николаевны Ельцовой, отчасти послужила сестра Л. Н. Толстого М. Н. Толстая, с которой Тургенев познакомился осенью 1854 г. в Покровском, имении Толстых, находившемся недалеко от Спасского (см. письмо Тургенева к Некрасову от 29 октября/10 ноября 1854 г. — Т, Письма, т. II, стр. 238). Об обстоятельствах знакомства Тургенева с М. Н. Толстой рассказывает Н. Н. Толстой в письме к Л. Н. Толстому. «Валерьян, — пишет Н. Н. Толстой, познакомился с Тургеневым; первый шаг был сделан Тургеневым, — он им привез номер „Современника“, где помещена повесть, от которой он был в восторге. Маша в восхищении от Тургенева говорит, что это простой человек, он играет с ней в бирюльки, раскладывает с ней гранпасьянс, большой друг с Варенькой — одно из привлекательнейших существ, какие мне только удавалось встретить. Мила, умна, проста — глаз бы не отвел. На старости лет (мне четвертого дня стукнуло 36 лет) — я едва ли не влюбился С.) не могу скрыть, что поражен в самое сердце. Я давно не встречал столько грации, такого трогательного обаяния… Останавливаюсь, чтобы не завраться — и прошу Вас хранить все это в тайне» (Т, Письма,

т. II, стр. 239–240). Содержащаяся в письме характеристика М. Н. Толстой не конкретизирована, однако в ней улавливаются некоторые черты внешнего и внутреннего облика Веры Ельцовой, в которой Тургенев подчеркивает простоту, «спокойствие», умение слушать «внимательно», отвечать «просто и умно», «ясность невинной души» и «трогательное обаяние» ее «детской» чистоты. В начале повести Павел Александрович Б. испытывает такое же чувство тайной симпатии и сообщает о нем в своих письмах другу.

В повести нашел отражение и литературный спор, возникший между Тургеневым и М. Н. Толстой, в частности из-за отрицательного отношения ее к поэзии и беллетристике. Сама М. Н. Толстая в позднейших воспоминаниях, известных в записи М. А. Стаховича, так рассказывает о возникновении замысла «Фауста»: «Чаще всего мы с ним спорили о стихах. Я с детства не любила и не читала стихов; мне казалось, и я говорила ему, что они все — выдуманные сочинения, еще хуже романов, которых я почти не читала и не любила.

Тургенев волновался и спорил со мною „даже до сердцов“ Раз наш долгий спор так настойчиво разгорячился, что перешел даже как-то в упреки

личности. Тургенев сердился, декламировал, доказывал, повторял отдельные стихи, кричал, умолял. Я возражала, ни в чем не сдаваясь и подсмеиваясь. Вдруг я вижу, что Тургенев вскакивает, берет шляпу и, не прощаясь, уходит прямо с балкона не в дом, а в сад Мы с недоумением прождали его несколько дней Вдруг неожиданно приезжает Тургенев, очень взволнованный, оживленный, но без тени недовольства В тот же вечер он прочел нам повесть. Она называлась „Фауст“» («Орловский вестник», 1903, 22 августа, э 224). На сходство черт внешнего и внутреннего облика М. Н. Толстой и героини «Фауста» указывал в своих мемуарах И. Л. Толстой: «Говорят, что одно время Тургенев был Марьей Николаевной увлечен. Говорят даже, что он описал ее в своем „Фаусте“. Это была рыцарская дань, которую он принес ее — чистоте и непосредственности» (И. Л. Толстой. Мои воспоминания. М., 1914, стр. 256).

Внутренняя мотивировка отношения Веры к поэзии как к источнику ложно направленного воображения и несбыточных мечтаний могла быть подсказана Тургеневу и Е. Е. Ламберт, которая 24 мая (5 июня) 1856 г. писала Тургеневу: «Я бы приняла ваш совет заняться Пушкиным, хоть бы для того, чтоб иметь с вами что-нибудь

общее, но бог знает, что мне ничего не следует читать кроме акафиста. В душе моей часто было темно Пушкин пробуждает лишь одни страсти — не потому ль его любят женщины и поэты? В нем есть жизнь, любовь, тревога, воспоминания. Я боюсь огня» (ИРЛИ, 5836, XXXб, 126).

«Фауст» Гете не случайно привлек внимание Тургенева. Еще в молодости студентом Берлинского университета, под влиянием лекций профессора гегельянца Вердера и кружка Беттины фон Арним, Тургенев увлекался Гете и воспринимал его как романтика, пафос отрицания которого был направлен против «ига преданий, схоластики» во имя прав и свободы отдельной личности, яркой романтической индивидуальности. В 1844 г. Тургенев опубликовал в «Отечественных записках» свой перевод «Последней сцены» первой части «Фауста». Выбор этой сцены знаменателен и существенен для замысла будущей тургеневской повести: в этой сцене дается трагическая развязка судьбы Гретхен, история которой произвела столь сильное впечатление на героиню повести Тургенева.

В 1845 г. Тургенев посвятил «Фаусту» в переводе М. Вронченко специальную статью, в которой по-новому подошел к творчеству Гете. Вслед

за Белинским и Герценом, которые в 30-е годы, испытав воздействие Гегеля и Гете, к 40-м годам преодолевают немецкий философско-поэтический идеализм и критически относятся к политическому индифферентизму Гете, Тургенев объясняет прогрессивные черты трагедии Гете и ее историческую ограниченность связью «Фауста» с эпохой буржуазных революций. «Фауст, — писал Тургенев, является нам самым полным выражением эпохи, которая в Европе не повторится, — той эпохи, когда общество дошло до отрицания самого себя, когда всякий гражданин превратился в человека, когда началась, наконец, борьба между старым и новым временем, и люди, кроме человеческого разума и природы, не признавали ничего непоколебимого» (наст, изд., т. I, стр. 234). Признавая великую заслугу Гете в том, что он заступился «за права отдельного, страстного, ограниченного человека», «показал, что человек имеет право и возможность быть счастливым Е не стыдиться своего счастия», Тургенев, однако, видит в «Фаусте» отражение трагедии индивидуализма. Для Фауста — по Тургеневу — не существует других людей, он живет только собою, его страстные поиски истинного смысла жизни ограничены сферой «лично-че-

ловеческого», в то время как «краеугольный камень человека не есть он сам, как неделимая единица, но человечество, общество...» (там же, стр. 235). Поэтому Тургенев считает «Фауста» ступенью, пройденной человеческой мыслью, и противополагает ему произведения нового времени, которые волнуют читателя не только «художественностью воспроизведения», но и своей социальной проблематикой.

Тема «Фауста» имеет свою давнюю традицию в европейской и русской литературе; в развитии ее Тургенев, для которого «Фауст» Гете послужил поводом к разработке оригинального, независимого сюжета, занимает своеобразное место[15].

В своей повести Тургенев, как и Пушкин в «Сцене из „Фауста“», «дает вполне самостоятельную концепцию проблемы „Фауста“, существенно отличную от идеи Гете» (В. Жирмунский. Указ. соч., стр. 138), «привносит в него („Фауста“ Гете) характерное для него понимание жизни претво-

[15] СНОСКИ: 15

См об этом: В. Жирмунский. Гете в русской литературе. Л., 1937, стр. 357–367; Д. С. Гутман. Тургенев и Гете, — Ученые записки Елабужского госуд. педагог, ин-та, т. 5, 1959, стр. 172–173; E. Rosenkranz. Turgenev und Goethe. «Germanoslavica» Ing. II, 1922–1933, Hf. l, стр. 76–91; Dr. Katharina Schutz. Das Goethebild Turgeniews. Sprache und Dichtung. Hf. 75. Bern — Stuttgart, 1952, стр. 104–113; Charles Dedeyan. Le theme de Faust dans la litterature Europeenne. Du romantisme a nos jours. I. Paris, 1961, стр. 282–285.

рив тему на свой лад» (Charles Dedeyan. Указ. соч., стр. 285). В тургеневской повести проблематика «Фауста» Гете соотносится с воспроизводимой писателем современной ему русской действительностью и его собственными исканиями тех лет.

Остановившись в начале повести на первых юношеских впечатлениях Павла Александровича Б. от гетевского «Фауста», Тургенев воспроизводит весь комплекс связанных с ним своих личных воспоминаний, — здесь воспоминания и о сценическом воплощениии трагедии Гете на берлинской сцене, и о партитуре «Фауста» Радзивилла (см. реальный комментарий, стр. 412). «Фауст» ассоциируется у Тургенева со временем его студенчества, порой молодых «желаний» и надежд (см. стр. 11). И далее «Фауст» сделан психологическим центром повести, выступает как важный момент в формировании ее героев, как кульминация развития событий. Знакомство с «Фаустом» Гете, который был воспринят героиней повести прежде всего в плане изображенной в нем любовной трагедии, помогло ей осознать неполноту своей жизни, разрушило барьер, воздвигнутый старшей Ельцовой, решившей построить жизнь дочери только на разумных,

рациональных началах, отгородив ее от сильных чувств и страстей. Вера предстает в повести как натура цельная, прямая и самостоятельная, которая, полюбив, готова идти до конца, преодолеть любые препятствия, и Тургенев, вслед за Пушкиным, отражает в ее образе рост мысли и самосознания русской женщины того времени. Однако, показав неизбежность и закономерность пробуждения Веры от искусственного сна, в который она была погружена, и приобщения ее к жизни, Тургенев одновременно говорит о невозможности личного счастья, о наивности, тщетности и эгоистичности стремлений к нему.

Повести предпослан эпиграф из «Фауста» Гете: Entbehren sollst du, sollst entbehren («Отречься должен ты, отречься») и, завершая ее сюжет трагической развязкой, Тургенев от лица своего героя призывает к отречению, к отказу от «любимых мыслей и мечтаний» во имя исполнения общественного долга. Несмотря на гетевский эпиграф, который как бы служит исходным моментом концепции Тургенева, в повести содержатся элементы внутренней полемики с Гете. Само «отречение», как верно отмечала К. Шютц, у Гете имеет иной источник, чем у Тургенева. Если для Гете, бунтующего в «Фаусте» против житей-

ского аскетизма как «прописной мудрости» (см. реальный комментарий, стр. 411) «отречение» является, по определению К. Шютц, «свободным самоограничением», на которое «человек идет добровольно, становясь властелином своей творческой силы», то Тургенев, по ее словам, «исходит из пессимистических предпосылок и приходит к отречению из оценки своей жизни и окружающего мира» (Dr. Katharina Schutz. Das Goethebild Turgeniews. Sprache und Dichtung. Hf. 75, Bern — Stuttgart, 1952, стр. 107). «Жизнь тяжелый труд», «не наложив на себя цепей, железных цепей долга, не может он (человек) дойти, не падая, до конца своего поприща...» — таково философское заключение повести.

В изображении судьбы героев повести, их отношений выступает также характерная для Тургенева тема трагизма любви. Эта тема звучит и в предшествующих «Фаусту» повестях «Затишье». «Переписка», «Яков Пасынков» и в последующих — «Ася» и «Первая любовь». Рассматривая любовь как проявление одной из стихийных, бессознательных и равнодушных к человеку сил природы, Тургенев в «Фаусте» показывает беспомощность, беззащитность человека перед этой силой. Не могут уберечь от нее героиню повести ни целе-

направленное воспитание, ни «благополучно» устроенная семейная жизнь. Любовь возникает в повести как страсть, которая лишь на мгновение вносит в жизнь поэтическое озарение, а затем разрешается трагически. Тема любви в «Фаусте» соприкасается с вопросом о роли таинственной и иррациональной стихии в жизни человека. «Неведомое» также трактуется в повести как одно из проявлений всесильной природы. Интерес к нему объединяет «Фауста» с более поздним циклом так называемых «таинственных» повестей: «Собака», «Странная история», «Сон», «Песнь торжествующей любви», «Клара Милич», написанных Тургеневым в конце 60-х — 70-х годов, в период увлечения его естественнонаучным эмпиризмом (см: главу о «Таинственных повестях» в книге Г. Вялого «Тургенев и русский реализм». М.-Л., 1962, стр. 207–221).

Мотив скорбного разочарования, идея долга, общественного служения, противопоставленного личным стремлениям, проходят и через другие повести Тургенева 50-х годов — «Переписка», «Яков Пасынков», «Поездка в Полесье», которые вместе с «Фаустом» служат подготовительными звеньями к «Дворянскому гнезду» (см. комментарии к этому роману). Пассивно-пессимистическая

концепция, пронизывающая повесть, связана как с личными настроениями писателя в пору работы над нею, гак и с увлечением его в то время философией Шопенгауэра.

Таким образом, в художественных образах повести Тургенева получили развитие его взгляды, высказанные в статье о «Фаусте» Гете, но в ней же сказался и частичный отход писателя от его воззрений 40-х годов. «В „Фаусте“, — писал В. М. Жирмунский, — чтение трагедии Гете играет решающую роль в духовном пробуждении героини, в ее попытке моральной эмансипации и последующей катастрофе. Эпиграф из „Фауста“ Гете подчеркивает элемент пессимистического скепсиса и отречения, присущий творчеству Тургенева» (В. Жирмунский. Гете в русской литературе. Л., 1937, стр. 359). Однако субъективно-лирическая сторона в повести тонко сочетается с планом объективно-реальным и не противоречит ее социально-психологической правде. История любви героя повести Павла Александровича Б. и Веры Ельцовой дается в определенной обстановке (русский поместный быт) и обусловлена их характерами и понятиями, выработанными под воздействием окружающей среды и воспитания. Одна из причин печально-

го исхода событий — несостоятельность героя, неспособного к решительным действиям, согласованию своих чувств, мечтаний и поступков. Это все тот же рудинский тип, близкий автору и одновременно уже не удовлетворяющий его. Другая причина трагической коллизии кроется во внутреннем мире героини, в противоречии между принципами, внушенными ей с детства, и проснувшимся в ней властным голосом чувств.

Повесть облечена в эпистолярную форму — это рассказ от лица героя в письмах. К этому приему Тургенев прибегал уже в «Переписке», где герои исповедуются в письмах друг перед другом. В «Фаусте» эта форма носит более емкий характер: излагаемый в письмах рассказ имеет новеллистическую композицию, включает в себя бытописание, портретные характеристики, пейзаж.

Характерной особенностью повести является обилие литературных образов и реминисценций. Кроме Гете и его трагедии «Фауст», которая определяет сюжет повести и играет столь существенную роль в судьбах героев, цитируются и упоминаются Шекспир, Пушкин, Тютчев. Героиня сравнивается одновременно с Маргаритой и с Манон Леско. Все это часто встречается и в других

произведениях Тургенева (такое же, например, преображающее воздействие, как «Фауст» Гете на Веру, на героиню «Затишья» оказывает пушкинский «Анчар») и связано с более широким вопросом о роли литературной традиции в его творчестве (см. об этом в статье А. Белецкого «Тургенев и русские писательницы 30-60-х годов», в которой отмечается развитие в «Фаусте» ряда сюжетных и идейно-тематических мотивов произведений русских романтических писательниц Е. А. Гаи, Е. Н. Шаховой и М. С. Жуковой в ключе «новой» реалистической манеры Тургенева — Творч путь Т, Сб, стр. 156–162).

«Фауст» имел успех. Еще в незаконченном виде повесть понравилась Панаеву, Боткину и Некрасову, к которым Тургенев обратился за литературными советами. Проводив Тургенева за границу, где он должен был закончить работу над «Фаустом», Некрасов писал Фету 31 июля 1856 г.: «Ну, Фет! какую он повесть написал! Я всегда думал, что с этого малого будет прок, но, право, удивился и, разумеется, сильно обрадовался. У него огромный талант, и коли правду сказать — так он в своем роде стоит Гоголя. Я теперь это положительно утверждаю. Целое море поэзии, могучей, благоуханной и обаятельной, вылил он

в эту повесть из своей души…» (Некрасов, т. X, стр. 287). Некрасов же сообщал Тургеневу позднее, после появления повести в «Современнике», о том, что «„Фауст“ сильно гремит» (там. же, стр. 301). Сам Тургенев писал В. П. Боткину 25 октября/6 ноября 1856 г. из Парижа: «Я получил из России письма мне то ворят, что мой „Фауст“ нравится…» (Т, Письма, т. III, стр. 23),

Сохранился ряд эпистолярных отзывов о «Фаусте», характеризующих восприятие повести в различных литературных кругах. П. В. Анненков, А. В. Дружинин, В. П. Боткин, представители «эстетической школы», высоко оценив лиризм повести, противопоставляли «Фауста» произведениям Тургенева с социальной проблематикой. Анненков «умилился», по собственному признанию, от «Фауста», потому что это — «свободная вещь» (Труды ГВЛ, вып. III, стр. 59). Дружинин, имея в виду соответственно «гоголевское» и «пушкинское» направления, приветствовал то, что Тургенев, как ему казалось, «не усидел» на Жорж Санд и пошел вслед за Гете (Т и круг Совр, стр. 194). В. П. Боткин в письме Тургеневу от 10 (22) ноября 1856 г. дает развернутый отзыв о повести. Выделив в творчестве Тургенева произведения объективного плана, подобные «Запискам

охотника», «затрагивающие известную струну», и субъективные, в которых выражается «романтизм чувства», «высшие и благороднейшие стремления», Боткин считает последние более органическими для лирического по своему характеру таланта Тургенева, видит в них залог его будущего расцвета, начало которому положено «Фаустом». Успех «Фауста», — пишет он, — «на стороне натуры твоей, на симпатичности рассказа, на общем созерцании, на поэзии чувства, на искренности, которая в первый раз, как мне кажется, дала себе некоторую волю» (Боткин и Тургенев, стр. 101–103).

Положительно отнесся к повести и Л. Н. Толстой, о чем свидетельствует запись от 28 октября 1856 г. в его дневнике: «Прочел „Фауста“ Тург(енева). Прелестно» (Толстой, т. 47, стр. 97). В. Ф. Лазурский в своем «Дневнике» 5 августа 1894 г. записал интересное высказывание Л. Н. Толстого, в котором «Фаусту» отводится определенное место в духовной эволюции Тургенева. «Я всегда говорю: чтобы понять Тургенева, нужно читать, советовал Л. Н. Толстой, — последовательно: „Фауст“, „Довольно“ и „Гамлет и Дон-Кихот“. Тут видно, как сомнение сменяется у него мыслью о том, где истина» (Лит. Насл, т. 37–38, стр. 480).

Критически восприняли повесть Герцен и Огарев, которым Тургенев оставил рукопись «Фауста» для прочтения во время своего пребывания в Лондоне во второй половине августа ст. ст. 1856 г. Оба они с похвалой отозвались о первом письме, носящем лирико-бытовой характер, и осудили романтические и фантастические элементы повести. «После первого письма — chef d'oeuvre слога во всех отношениях — я не того ждал. Куда нам заходить в романтическое Замоскворечье — мы люди земляные, жиленые да костяные», — писал А. И. Герцен Тургеневу 14 (26) сентября 1856 г. К этому письму была приложена записка Н. П. Огарева с отзывом о «Фаусте». «Первое письмо, — писал Огарев, — так наивно, свежо, естественно, хорошо, что я никак не ожидал остального. Происшествие кажется придуманным с каким-то усилием для того, чтобы высказать неясные мнения о таинственном мире, в который вы сами не верите». Он находил неестественным и сюжет «Фауста» и психологическую сторону развития любви, объясняя это тем, что в «Фаусте» «фантастическая сторона прилеплена; повесть может обойтись и без нее» (С, 1913, кн. 6, стр. 6–8). Аналогичное суждение о «Фаусте.» высказал и М. Н. Лонгинов u письме к Тургеневу

от 23 октября (4 ноября) 1856 г. из Москвы. Сообщая, что «Фауст» «нравится многим», но не ему, и хваля «первое письмо», которое он прочел «с наслаждением», Лонгинов находил всю повесть «неестественною» и считал, что Тургенев «в ней не в своей сфере» (Сб. ПД 1923, стр. 142–143).

Первым печатным откликом на тургеневского «Фауста» был критический фельетон Вл. Зотова в «СПб. ведомостях» от 6 ноября 1856 г. (э 243). Воздав должное стилю повести, Вл. Зотов находил в сюжете ее «несообразности и неестественности» и выражал сожаление, что талант писателя «употребляется на развитие таких невозможных историй». «Мать героини, испытавшая порядочные треволнения в жизни, — пишет Зотов, — думает оградить от них свою дочь тем, что не позволяет ей читать стихов, — первая несообразность; потом она не выдает ее за человека порядочного, говоря, что ей не такой муж надобен, и отдает за болвана, — хорошее средство предостеречься от страстей! Дочка, даже вышед замуж, не чувствует ни малейшего желания прочесть ни одного романа; таких дам, в то же время умных и образованных, какою изображена Вера Николаевна, мы твердо убеждены — нет ни в одном из самых отдаленных уголков России…»

С опровержением подобных обвинений выступил Д. И. Писарев в статье «Женские типы в романах и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова», опубликованной в журнале «Русское слово» за декабрь 1861 г. Трактуя образы старшей и младшей Ельцовых как личности необычные, почти исключительные, чувства которых развиты в повести до романтического предела, Писарев показывает, что все в них вместе с тем психологически оправдано и характерно. «Образы, в которых Тургенев выразил свою идею, — отмечал Писарев, — стоят на границе фантастического мира. Он взял исключительную личность, поставил ее в зависимость от другой исключительной личности, создал для нее исключительное положение и вывел крайние последствия из этих исключительных данных Размеры, взятые автором, превышают обыкновенные размеры, но идея, выраженная в повести, остается верною, прекрасною идеею. Как яркая формула этой идеи, „Фауст“ Тургенева неподражаемо хорош. Ни одно единичное явление не достигает в действительной жизни той определенности контуров и той резкости красок, которые поражают читателя в фигурах Ельцовой и Веры Николаевны, но зато эти две почти фантастические фигуры бросают

яркую полосу света на явления жизни, расплывающиеся в неопределенных, сероватых туманных пятнах» (Писарев, т. I, стр. 265).

Много лет спустя, в ответе на анкету, которая была разослана в 1918 г. ряду деятелей литературы с целью выяснения их отношения к Тургеневу, писательница Л. Ф. Нелидова писала:

«Как-то раз, разговаривая с Иваном Сергеевичем, я сказала ему, что в его повести „Фауст“ мать героини Ельцова напоминает мне мою мать и ее отношение к чтению романов. Тургенев был очень доволен этим замечанием. По его словам, ему не раз приходилось слышать до поводу этой самой Ельцовой упреки в надуманности и неверности изображения ее характера, и было особенно приятно узнать о сходстве ее с живым лицом.

Сходство было несомненное. Подобно героине „Фауста“, в детстве и юности я могла читать только детские книги, путешествия и хрестоматии. Исключение было сделано для одного Тургенева» (Т и его время, стр. 7).

В связи с выходом в 1856 г. издания «Повестей и рассказов» И. С. Тургенева в журналах того времени появился ряд рецензий, в которых характеризовался «Фауст». А. В. Дружинин

в «Библиотеке для чтения» развивал мысль, высказанную им ранее в письме к Тургеневу, о победе в его творчестве «пушкинского» начала над «гоголевским». По его словам, «...в „Муму“, в „Двух приятелях“, в „Затишье“, в „Переписке“, в „Фаусте“ поток поэзии прорывается со всею силою, срывает преграды, мечется по сторонам, и хотя не вполне получает свободное течение, но уже высказывает и богатство свое и свое истинное направление» (5 Чт, 1857, э 3, отд. «Критика», стр. 11).

К. С. Аксаков, давая в «Русской беседе» «Обозрение современной литературы», в духе своих славянофильских взглядов сопоставляет «Рудина», в котором «выставлен человек замечательный: с умом сильным, интересом высоким, но отвлеченный и путающийся в жизни», и «Фауста», где Тургенев «противополагает дрянности человеческой уже не только простую цельную естественную природу души, но цельность духовного начала, нравственную истину, вечную и крепкую, — опору, прибежище и силу человека» («Русская беседа», 1857, т. I, кн. 5, отд. «Обозрения», стр. 22).

С. С. Дудышкин в рецензии на «Повести и рассказы» И. С. Тургенева, опубликованной в

«Отечественных записках», критикуя основного героя ранних произведений Тургенева, «лишнего человека», противопоставляет ему «благородного человека, который трудится изо дня в день без громких фраз», и трактует в свете этих благонамеренных либеральных идеалов «Фауста» Тургенева. Дудышкин осуждает героя повести, нарушившего «покой одной прекрасной женщины, Ельцовой, тем, что развил ее умственный горизонт, вдохнул в нее страсть, из которой ей не было исхода. Одна смерть была необходима, и потому Ельцова умерла. Она исполнила свой _долг_» (03, 1857, э 1, отдел II, стр. 23). И далее Дудышкин, перефразируя заключительные слова повести о долге и отречении, рассматривает их как ключ к новому этапу творчества Тургенева, когда писатель обретет «идеал», гармонирующий с окружающей его обстановкой, и для его героев наступит «пора деятельности, труда» (там же, стр. 25).

Против этих идей Дудышкина, тенденциозно перетолковывавшего произведения Тургенева, выступил Н. Г. Чернышевский в «Заметках о журналах» (С, 1857, э 2) (см. наст, изд., т. VI, стр. 518). Однако ни Чернышевский, ни Добролюбов не могли солидаризироваться и с Тургеневым,

противопоставившим долг и личное счастье. Это противоречило этической системе революционных демократов, теории «разумного эгоизма», по которой долг определяется внутренним влечением, а основным источником деятельности развитой личности является разумно понятый «эгоизм».

И в 1858 г. в статье «Николай Владимирович Станкевич» Добролюбов на страницах «Современника» (э 4), не называя Тургенева по имени, вступил с ним в полемику. «Не так давно, — пишет Добролюбов, — один из наших даровитейших писателей высказал прямо этот взгляд, сказавши, что цель жизни не есть наслаждение, а, напротив, есть вечный труд, вечная жертва, что мы должны постоянно принуждать себя, противодействуя своим желаниям, вследствие требований нравственного долга. В этом взгляде есть сторона очень похвальная, именно — уважение к требованиям нравственного долга, с другой стороны, взгляд этот крайне печален потому, что потребности человеческой природы он прямо признает противными требованиям долга...» (Добролюбов, т. III, стр. 67).

Позднее в статье «Благонамеренность и деятельность» (С, 1860, э 7), также частично направ-

ленной против Тургенева, Добролюбов, ратуя за появление в литературе образа деятеля нового типа, цельного человека, вновь упомянул «Фауста» Тургенева: «Нам не представляют внутренней работы и нравственной борьбы человека, сознавшего ложность настоящего порядка и упорно, неотступно добивающегося истины; нового Фауста никто нам и не думал изображать, хоть у нас есть даже и повесть с таким названием...» (Добролюбов, т. II, стр. 248).

Чернышевский откликнулся на повесть в статье «Русский человек на rendez-vous» («Атеней», 1858, э 3). Поставив «Фауста» в связь с «Рудиным» и «Асей», Чернышевский раскрывает социальный аспект изображенного в повести конфликта. Рассматривая нерешительное «поведение» героев этих произведений в любви как показатель и для их отношения к «делу», Чернышевский разоблачает сходящего с общественной арены прежнего дворянского героя русской литературы. «В „Фаусте“, — пишет Чернышевский, — герой старается ободрить себя тем, что ни оп, ни Вера не имеют друг к другу серьезного чувства; сидеть с ней, мечтать о ней — это его дело, но по части решительности, даже в словах, он держит себя так, что Вера сама должна сказать ему, что любит

его Не удивительно, что после такого поведения любимого человека (иначе, как „поведением“, нельзя назвать образ поступков этого господина) у бедной женщины сделалась нервическая горячка; еще натуральнее, что потом он стал плакаться на свою судьбу. Это в „Фаусте“; почти то же и в „Рудине“» (Чернышевский, т. V, стр. 158–159).

В последующие годы «Фауст» продолжает привлекать внимание критики. В 1867 г. в «Отечественных записках» была опубликована критическая заметка Б. И. Утина «Аскетизм у г. Тургенева», в которой отмечаются — как характерная для воззрений Тургенева черта — элементы аскетических настроений в таких его произведениях, как «Дворянское гнездо», «Накануне», «Фауст», «Переписка», «Призраки» и «Довольно». Основы такого подхода к жизни Утин видит в философии Шопенгауэра. Рассматривая «Фауста» лишь с точки зрения отражения в нем «аскетических» идей и слишком прямолинейно толкуя заключительные слова повести. Утин обедняет ее содержание. «Смысл здесь — пишет он, — очевидно тот же. Жизнь не любит шутить, а потому не отдавайся ей, не живи, и ты уйдешь от ее опасностей» (03, 1867, т. 173, э 7, кн. 2, отд. VI, стр. 54).

В 1870 г. Н. В. Шелгунов отозвался на выход в свет очередных томов «Сочинений И. С. Тургенева» статьей «Неустранимая утрата». Свои общие суждения о пессимистических мотивах в творчестве Тургенева, грустной лирической тональности его таланта, чуткости писателя к человеческому горю, мастерстве тонкого проникновения в женскую психологию Шелгунов подтверждает и на разборе «Фауста». Характеризуя Веру Ельцову как натуру сильную, но обреченную на гибель, и сравнивая ее судьбу с жизнью героинь других произведений Тургенева, Шелгунов спрашивает: «Что ж это за горькая судьбина? Что за преследующий фатализм? Где его корень? Отчего люди несчастны? Неужели нет выхода?» «Тургенев, — по его словам, — не дает ответа на эти вопросы. Ищите, догадывайтесь, спасайтесь, как знаете». И далее анализ повести он заключает выводом: «Любовь — болезнь, химера, говорит Тургенев, от нее не спасешься, и ни одна женщина не минует ее руки Не силу активного протеста вызывает у вас Тургенев, а возбуждает какое-то непримиряющееся щемление, ищущее выхода в пассивном страдании, в молчаливом, горьком протесте». С революционно-демократических позиций осуждает Шелгунов и призыв в «Фаусте»

к труду и отречению. «Жизнь есть труд, говорит Тургенев. Но разве о здоровом труде говорит Павел Александрович? Его труд есть отчаяние безнадежности, не жизнь, а смерть, не сила энергии, а упадок различных сил...» («Дело», 1870, э 6, стр. 14–16).

В 1875 г. С. А. Венгеров в одном из ранних своих трудов: «Русская литература в ее современных представителях. Критико-биографический этюд. И. С. Тургенев» — отвел специальную главу «Фаусту». В основу разбора повести положена мысль о том, что нельзя «идти против естественного хода вещей, против нормального развития природных даров» (указ, соч., ч. II. СПб., 1875, стр. 64). Поэтому ошибаются те «близорукие судьи», говорит Венгеров, которые обвиняют героя повести в том, что он разрушил «счастье» Веры. «Когда-нибудь должна же была бы произойти брешь в стене, отделяющей ее от действительности. Следовательно, если не герой повести, то другой, третий разыграли бы его роль и открыли бы глаза Вере Николаевне, до того завешанные рукой заботливой матери» (там же, стр. 69). И вывод, к которому приходит Венгеров, противостоит односторонним критическим суждениям об «аскетических» идеях повести. «Печальным

предостережением возвышается перед нами симпатичная фигура Веры Ельцовой, увеличивая собою галерею привлекательных женских портретов Тургенева. В ее лице защитники свободы человеческого сердца могут почерпнуть гораздо более сильные доказательства, чем из всех жоржзандовских романов, потому что ничто не действует на нас сильнее, чем грустный финал, являющийся результатом известного нерационального явления» (там же, стр. 72).

Высокую оценку «Фаусту» дает В. П. Буренин в своем критическом этюде «Литературная деятельность Тургенева» (СПб., 1884). По поэтическому характеру, лирической направленности Буренин объединяет «Фауста» и «Асю» Тургенева, называя их «беллетристическими шедеврами». Заметки его носят импрессионистский, субъективно-психологический характер, но не лишены верных наблюдений.

В том же субъективно-психологическом плане рассматривают «Фауста» А. И. Незеленов в своей книге «Тургенев в его произведениях» (СПб., 1885) и Д. Н. Овсянико-Куликовский в «Этюдах о творчестве И. С. Тургенева» (СПб., 1904).

Из более поздних откликов интересен отзыв П. А. Кропоткина, который в 1907 г., как в свое

время Чернышевский, обратил внимание на несостоятельность героя повести. Рассматривая «Фауста» в ряду таких повестей Тургенева, как «Затишье», «Переписка», «Якоп Пасынков», «Ася», он заключает: «В них слышится почти отчаяние в образованном русском интеллигенте, который даже в любви оказывается неспособным проявить сильное чувство, которое снесло бы преграды, лежащие на его пути; даже при самых благоприятных обстоятельствах, он может принести любящей его женщине только печаль и отчаяние» (П. Кропоткин. Идеалы и действительность в русской литературе. СПб., 1907, стр. 102).

Первый перевод «Фауста» на французский язык был сделан И. Делаво в 1856 г. («Revue des Deux Mondes», 1856, t. VI, Livraison 1er Decembre, pp. 581–615). По поводу этого перевода Тургенев писал В. П. Боткину 25 ноября/7 декабря 1856 г. из Парижа: «Делаво перекатал моего „Фауста“ и тиснул его в декабрьской книжке „Revue des 2 Mondes“ — издатель (де-Марс) приходил меня благодарить и уверял, что эта вещь имеет большой успех; а мне, ей-богу, все равно, нравлюсь ли я французам или нет, тем более, что М-те Виардо этот „Фауст“ не' понравился» (Т, Письма, т. III, стр. 47). Ознакомившись с переводом, В. П. Боткин

сообщал Тургеневу: «Прочел я по-французски твоего „Фауста“, но он мне по-французски показался очень бледным — вся прелесть изложения пропала — словно скелет один остался» (Боткин и Тургенев, стр. 111–112). В 1858 г. перевод «Фауста» был опубликован в первом французском сборнике повестей и рассказов Тургенева, переведенных Кс. Мармье (1858, Scenes, I). С этого издания в 1862 г. Фр. Боденштедтом был сделан первый немецкий перевод («Russische Revue», 1862, Bd I, Hf I, стр. 59–96), который очень понравился Тургеневу. 19/31 октября 1862 г. он писал Фр. Боденштедту: «Не могу прежде всего не поговорить с вами о переводе моей повести „Фауст“, хотя это и немного эгоистично с моей стороны. Я только что прочел его и был буквально в восторге — это простонапросто совершенство. (Говорю, разумеется, о переводе, а не об оригинале.) Недостаточно знать до основания русский язык — надобно еще самому быть большим стилистом для того, чтобы создать нечто столь совершенно удавшееся» (с французского- Т, Письма, т. V, стр. 413). Этот перевод был им перепечатан дважды — в первом из двух вышедших томов задуманного Фр. Боденштедтом собрания сочинений Тургенева на немецком языке (Erzahlungen von

Iwan Turgenjew. Deutsch von Friedrich Bodenstedt. Autorisierte Ausgabe. Bd. I. Munchen, 1864).

Из других прижизненных переводов «Фауста» отметим следующие: чешский (в журнале «Obrazy zivota», 1860 — перевел Vavra), два сербских перевода (в журнале «Матица», 1866, ээ 39–44, и «Фауст» у Новом Саду, 1877), три польских («Wedrowiec», 1888; Tydzieii literacko-artystyczny. Dodatek literacki do «Kuriera Lwowskiego», 1874 и «Warszawsld Dziennik», 1876, ээ 87, 89, 92 и 98), английский («Galaxy», XIII, ээ 5, 6. May — June, 1872), шведский (Tourgeneff, Iwan. Faust. Berattelse. ofversaUning af M. B. Varberg, 1875).

«Фауст» Тургенева вызвал подражания в немецкой литературе. Факт этот отмечала еще при жизни писателя немецкая критика. Так, по свидетельству Отто Глагау, автора книги «Die Russische Literatur und Iwan Turgeniew» (Berlin, 1872), прд явным воздействием Тургенева был написан роман Карла Детлефа (псевдоним писательницы Клары Бауэр) «Неразрывные узы» («Unlosliche Bande» см. указ, соч., стр. 163–164). Форма переписки двух друзей, один из которых русский писатель Сабуров, сюжетная ситуация — гибель героини как жертвы «уз», насильно навязанного ей брака и пробудившегося в ней чувства, осуждение жиз-

ни, в основу которой положено эгоистическое личное начало, и идея подчинения ее общественному долгу — все это сближает «Неразрывные узы» с повестью Тургенева «Фауст» (см. пересказ этого романа в статье: М. Цебрикова. Немецкие романы из русской жизни. — «Неделя», 1874, э 46, стр. 1672–1674).

Entbehren sollst du, sollst entbehren! — 1549 стих первой части «Фауста» Гете, из сцены «Studierzimmer». В трагедии Гете Фауст иронизирует над этим изречением, призывающим к отказу от запросов своего «я», к смирению своих желаний, как над «прописной мудростью»; Тургенев полемически использует его в качестве эпиграфа к повести.

Геркулес Фарнезский. — Имеется в виду знаменитая статуя работы Гликона. находящаяся в Неаполитанском музее, которая изображает Геракла (Геркулеса) отдыхающим, опирающимся на палицу.

...и та не дождалась меня, как Аргос дождался Улисса... — В «Одиссее» Гомера любимый охотничий пес Одиссея (Улисса) Аргос встречает хозяина после возвращения из долгих странствий и затем издыхает (XVII песнь).

Манон Леско — героиня романа Прево «История

кавалера де Грие и Манон Леско» (1731). Женский портрет, напоминающий Манон Леско, часто выступает в ряду других старинных портретов середины XVIII века в повестях Тургенева (см.: Л. Гроссман. Портрет Манон Леско. Два этюда о Тургеневе. М., 1922, стр. 7-41).

…сцены из д'арленкуровского «Пустынника». — Д'Арленкур (d'Arlincourt) Шарль Виктор Прево (1789–1856) — французский романист, легитимист и мистик, романы которого в свое время пользовались широкой известностью, выдержали несколько изданий, переводились на многие европейские языки, инсценировались. Особенно популярен был его роман «Le solitaire» «Пустынник», или «Отшельник». Романы д'Арленкура сохранились в спасской библиотеке с надписью матери Тургенева (Barbe de Tourgueneff) (см. М. Португалов. Тургенев и его предки в качестве читателей. «Тургениана». Орел, 1922, стр. 17).

…«Кандида» в рукописном переводе 70-х годов… — Первый перевод на русский язык романа Вольтера «Кандид, или Оптимизм, то есть наилучший свет» вышел в Петербурге, в 1769 г., последующие — в 1779, 1789 гг. Речь идет о рукописной копии одного из этих переводов. Подобная копия имелась в спасской библиотеке.

«Этот редкостный экземпляр, — отмечал М. В. Португалов, — в хорошо сохранившемся переплете имеет на корешке (внизу) инициалы: А. Л. (Алексей Лутовинов)» (там же, стр. 16). Тот же рукописный список «Кандида» упоминается и в «Нови» (сохранялся в «заветном ящике» Фомушки — см. «Новь», гл. XIX).

«Торжествующий хамелеон» (то есть: Мирабо) — анонимный памфлет «Торжествующий хамелеон, или Изображение анекдотов и свойств графа Мирабо», перев. с нем. М., 1792 (в 2-х частях).

«Le Paysan perverti» («Развращенный крестьянин», 1776) — роман французского писателя Ретифа де ла Бретонна (Restif de la Bretonne, 1734–1806), имевший большой успех. По свидетельству М. В. Португалова, «все упомянутые (в „Фаусте“) книги находятся и теперь в Тургеневской библиотеке: и роман Ретифа де ла Бретонна, с автографом Pierre de Cologrivoff, и „Хамелеон“ гр. Мирабо, и старые учебники матери и бабки Тургенева с той же надписью, только вместо Eudoxie de Lavrine (кстати упомянуть, бабка И. С. из рода Лавровых) поставлено „A Catharinne de Somov“…» (указ, соч., стр. 27–28). Тургенев описывает в «Фаусте» спасскую библиотеку как типичную для сред-

недворянского помещичьего круга, к которому принадлежали его предки.

С каким неизъяснимым чувством увидал я маленькую, слишком мне знакомую книжку (дурного издания 1828 года). — Имеется в виду привезенное Тургеневым в Спасское из-за границы издание: Goethe J. W. Werke. Vollstandige Ausgabe. Band I–XL. Stuttgart und Tubingen, 1827–1830. «Фауст» (1-я часть) был напечатан в 12-м томе этого издания, вышедшем в одном переплете с 11-м в 1828 г. (см.: В. Н. Горбачева. Молодые годы Тургенева. По неизданным материалам, М., 1926, стр. 43).

Клара Штих (1820–1862) — немецкая драматическая актриса, выступавшая в наивно-сентиментальных ролях и пользовавшаяся в начале 40-х годов в Берлине, в период пребывания там Тургенева, большим успехом. Как об актрисе, занявшей главное место на берлинской сцене, упоминает о ней К. Гуцков в главе «Берлинская театральная жизнь накануне 1840 г.» (K. Gutzkow. Berliner Erinnerungen und Erlebnisse. Hrsg. von P. Friedlander. Berlin, 1960, стр. 358).

Музыку Радзивилла… — Антон Генрих Радзивилл, князь (1775–1833)польский магнат, живший с молодых лет при берлинском дворе, музыкант

и композитор, автор ряда романсов, девяти песен из «Вильгельма Майстера» Гете и партитуры к его трагедии «Фауст», впервые исполненной посмертно 26 октября 1835 г. берлинской Певческой академией и изданной в Берлине в том же 1835 г. В 1837 году радзивилловский «Фауст» с успехом исполнялся в Лейпциге, а в 1839 г. — в Эрфурте. Музыка Радзивилла к «Фаусту» привлекла внимание Шопена, Шумана и Листа. Лист в своей книге о Шопене, которая могла быть известна Тургеневу, дал высокую оценку партитуры Радзивилла к «Фаусту» (см. Fr. Liszt. Fr. Chopin. Paris, 1852, стр. 134).

…есть еще что-то такое на свете, друг Горацио, чего я не. испытал… — Перефразировка слов Гамлета из 5-й сцены I действия трагедии Шекспира «Гамлет» (Hamlet: There are more things in heaven and earth, Hqratio, than are dreamt at in your philosophy. — На небе и земле есть больше вещей, Горацио, чем снилось вашей философии).

Я содрогаюсь — сердцу больно… — Неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Разговор книгопродавца с поэтом» (1824):

Я так и вспыхну, сердцу больно:
Мне стыдно идолов моих.

«Ночь на Брокене» — «Вальпургиева ночь», сцена из первой части «Фауста» Гете.

«Добрый человек в неясном своем стремлении всегда чувствует, где настоящая дорога» — «Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohl bewusst», две строки из «Пролога на небе» к 1-й части «Фауста» в переводе И. С. Тургенева.

Крылом своим меня одень… — Третья строфа из стихотворения Ф. И. Тютчева «День вечереет, ночь близка» (1851).

«На волнах сверкают тысячи колеблющихся звезд» — «Auf der Welle blinken/Tausend schwebende Sterne», две строки из третьей строфы стихотворения Гете «Auf dem See».

«Глаза мои, зачем вы опускаетесь?» — «Aug'mein Aug, was sinkst du nieder?», строка из второй строфы того же стихотворения.

…следы Франклина на Ледовитом океане… — Франклин (Franklin) Джон (1786–1847) — знаменитый английский путешественник, возглавивший в 1845 г. экспедицию, направленную для открытия Северо-Западного морского пути вокруг Америки. Все участники экспедиции погибли, но в течение многих лет производились розыски их, о чем сообщалось в русских журналах и газетах.

Фретильона — прозвище известной французской артистки, танцовщицы и певицы Клерон (1723–1803), ставшее именем нарицательным (fretillon по-французски живчик, непоседа).

…Как Мазепа Кочубею, отвечал криком на зловещий звук. — Имеются в виду 300–313 стихи из II-й песни «Полтавы» Пушкина.

Чего хочет он на освященном месте,/ Этот… вот этот… — В своем переводе последней сцены 1-й части «Фауста», опубликованном в «Отечественных записках» в 1844 году, Тургенев те же строки передал несколько иначе: «Зачем он в святое место зашел?» (см. наст, изд., т. I, стр. 37).